

ВЛАДИМИР СОРОКИН

18+

ВЛАДИМИР СОРОКИН

• ПИР •

Владимир Сорокин

Пир

«Corpus (ACT)»

2001

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Сорокин В. Г.

Пир / В. Г. Сорокин — «Corpus (ACT)», 2001

ISBN 978-5-17-127288-3

Особое отношение к кухне и трапезе пронизывает все книги Владимира Сорокина, но только в “Пире” тема еды является центральной и раскрыта всесторонне. Овеществление метафоры – излюбленный авторский прием – как нельзя лучше подходит для исследования культурного и символического смысла голода и насыщения. Сквозь призму еды автор разглядывает человеческие отношения и страсти, классические произведения и традиционные стили русской литературы, прошедшую историю и утопическое будущее. В книгу вошли тринадцать ярких и очень разных текстов. Среди них “Настя” – одна из самых эпатажных вещей Сорокина, вызвавшая возмущение адептов нравственности откровенной сценой каннибализма; “Лошадиный Суп” – психологический портрет человека девяностых на примере истории одной зависимости; “Ю” – первый камень в здание “Манараги”, изображение мира высокой кухни как закрытого сообщества, требующего полного самоотречения. “Пир”, написанный в 2000 году, закрепил за Сорокиным славу писателя, раскрепостившего русскую литературу, – того, кто почти с нуля создал язык, которым она смогла говорить о материальном, низком, стыдном и чувственном. Книга содержит нецензурную брань. В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-127288-3

© Сорокин В. Г., 2001

© Corpus (АСТ), 2001

Содержание

Настя	7
Сопрежные	35
Аварон	46
Конец ознакомительного фрагмента.	55

Владимир Сорокин

Пир

© В. Сорокин, 2001

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2021

© ООО «Издательство АСТ», 2021

Издательство CORPUS ®

* * *

Настя

Серо-голубое затишье перед рассветом, медленная лодка на тяжелом зеркале Денеж-озера, изумрудные каверны в кустах можжевельника, угрожающе ползущих к белой отмоине плеса.

Настя повернула медную ручку балконной двери, толкнула. Толстое стекло поплыло вправо, дробя пейзаж торцевыми косыми гранями, беспощадно разрезая лодку на двенадцать частей. Влажная лавина утреннего воздуха хлынула, объяла, бесстыдно затекла под сорочку.

Настя жадно потянула ноздрями и шагнула на балкон.

Теплые ступни узнали прохладное дерево, доски благодарно скрипнули. Настины руки легли на облупившиеся перила, глаза до слез всосали замерший мир: левый и правый флигеля усадьбы, молочную зелень сада, строгость липовой аллеи, рафинад церкви на пригорке, прилегшую на траву иву, скирду скошенного газона.

Настя повела широкими худыми плечами, тряхнула распущенными волосами и со стоном потянулась, вслушиваясь просыпающимся телом в хруст позвонков:

– Э-а-а-а-а...

За озером медленно сверкнула искра, влажный мир качнулся и стал разворачиваться к неизбежному солнцу.

– Я люблю тебя! – прошептала Настя первым лучам, повернулась и вошла в свою спальню.

Красный комод хмуро глядел замочными скважинами, подушка широко, по-бабьи улыбалась, свечной огарок немо вопил оплавленным ртом, с переплета французской книги победоносно ухмылялся Картуш.

Настя села за свой маленький столик, открыла дневник, взяла стеклянную ручку с фиолетовым коготком пера, обмакнула в чернильницу и стала смотреть, как рука выводит на желтой бумаге:

6 августа.

Мне шестнадцать лет. Мне, Настасье Саблиной! Воистину странно, что я не удивляюсь этому. Отчего же? Хорошо ли это или дурно? Наверное, я еще сплю, хотя солнце уже встало и озарило все вокруг. Сегодня – самый важный день в моей жизни. Как я проведу его? Запомню ли я его? Надобно запомнить все до мелочей, каждую капельку, каждый листочек, каждую свою мысль. Надобно думать хорошо. *Рара* говорит, что добрые мысли озаряют нашу душу, как солнце. Пусть же сегодня в моей душе светит мое солнце! Солнце Самого Важного Дня. А я буду радостной и внимательной. Вчера вечером приехал Лев Ильич, и после ужина я с ним и с *рара* сидела в большой беседке. *Рара* с ним опять спорил про Nietzsche, что надобно преодолеть в своей душе самого себя. Сегодня я должна это сделать. Хотя я и не читала Nietzsche. Я еще очень мало знаю о мире, но я очень люблю его. И люблю людей, хотя многие из них выказывают скуку. Но скучных же тоже надобно любить? Я счастлива, что *рара* и *татап* не скучные люди. И я счастлива, что наступил День, который мы так долго ждали!

Солнечный луч тронул кончик стеклянной ручки, она вспыхнула напряженной радугой.

Настя закрыла дневник и снова потянулась – сладостно, мучительно, закинув руки за голову. Скрипнула дверь, и мягкие руки матери сомкнулись вокруг ее запястий.

– Ах ты, ранняя пташка...

– Матап... – Настя запрокинула голову назад, увидела перевернутое лицо матери, обняла.

Неузнаваемое зубастое лицо нависло, тесня лепных амуров потолка:

– Ma fillette. Tu as bien dormi?

– Certainement, maman.

Они замерли, обнявшись.

– Я видела тебя во сне, – произнесла мать, отстраняясь и садясь на кровать.

– И что же я делала?

– Ты много смеялась. – Мать с удовольствием смотрела на струящиеся в узком луче волосы дочери.

– Это глупо? – Настя встала, подошла – тонкая, стройная, в полупрозрачной ночной сорочке.

– Отчего же смеяться – глупо? Смех – это радость. Присядь, ангел мой. У меня что-то есть для тебя.

Настя села рядом с матерью. Они были одинаковые ростом, похожи сложением, в однотонных голубых сорочках. Только плечи и лица были разные.

В тонких пальцах матери раскрылся футляр малинового бархата, сверкнуло бриллиантовое сердечко, тонкая золотая цепочка легла на Настины ключицы:

– C'est pour toi.

– Maman!

Настя склонилась, взяла сердечко, волосы хлынули вокруг лица, бриллиант грозно сверкнул голубым и белым.

Дочь поцеловала мать в нестарую щеку.

– Maman.

Солнечный свет впился в зеленые глаза матери, она осторожно раздвинула каштановый занавес Настиных волос: дочь держала бриллиант возле губ.

– Я хочу, чтобы ты поняла, какой день сегодня.

– Я уже поняла, maman.

Мать гладила ее голову.

– Мне к лицу? – Настя выпрямилась, выставив вперед юную крепкую грудь.

– Parfait!

Дочь подошла к трехстворчатому зеркалу, островерхо растущему из цветастой мишуры подзеркального столика. Четыре Насти посмотрели друг на друга:

– Ах, как славно...

– Твое навечно. От нас с *rara*.

– Чудесно... А что *rara*? Еще спит?

– Сегодня все проснулись рано.

– Я тоже! Ах, как это славно...

Мать взяла стоящий возле подсвечника колокольчик, позвонила. Небыстро послышалось за дверью нарастающее шарканье, и вошла полная большая няня.

– Няня! – Настя подбежала, бросилась на дебелую грудь.

Прохладное тесто няниных рук сомкнулось вокруг Насти.

– Золотце мое, сирибро! – Колыхаясь, дрожа, словно собираясь заплакать, няня быстро целовала голову девушки большими холодными губами.

– Няня! Мне шестнадцать! Уже шестнадцать!

– Хоссподи, золотце мое, хоссподи, сирибро мое!

Мать с наслаждением смотрела на них.

– Совсем не так давно ты ее пеленала.

Туша няни сотрясалась, громко дыша.

– Токмо вчерась, хоссподи! Токмо вчерась, Царица Нябесная!

Настя ожесточенно вывернулась, оттолкнулась от квашни няниного живота.

– Взгляни! Правда, прелесть что такое?

Еще не разглядев бриллианта слезящимися заплывшими глазами, няня тяжело всплеснула увесистыми ладонями:

– Хоссподи!

Изнывая от сдержанной радости, мать качнулась к двери:

– Настенька, мы завтракаем на веранде.

Обмыв Настино тело смоченной лавандовой водою губкой, няня растерла ее влажным и сухим полотенцами, одела и стала заплетать косу.

– Няня, а ты помнишь свое шестнадцатилетие? – Непокорно склонив голову, Настя следила за ползущим по полу рыжим муравьем.

– Хоссподи, да я уж тады на сносях была!

– Так рано? А, ну да! Тебя же в пятнадцать сосватали.

– То-то ж и оно, золотце мое. А к заговенью-то на Рождство и родила Гришу. Да токмо он, сярдешнай, от ушницы помёр. Потом Васятка был, опосля Химушка. К двадцати-то годам у мене один бегал, другой в люльке кричал, третий в животе сидел. Во как!

Опухшие белые пальцы няни мелькали в каштаново-золотистом водопаде волос: тяжелая коса неумолимо росла.

– А я никого не родила. – Настя наступила кончиком парусиновой туфельки на муравья.

– Хоссподи, о чем тужить-то, золотце мое! – колыхнулась няня. – Тебе ли красоту на семя пущать? Ты на другое сподоблена.

Коса мертвым питоном вытягивалась между лопаток.

На белой веранде задушенно похрипывал ослепительный самовар, наглый плющ лез в распахнутые окна, новый лакей Павлушка гремел посудой. Отец, мать и Лев Ильич сидели за столом.

Настя вбежала:

– Good morning!

– А-а-а! Именинница! – Нескладный, угловатый, как поломанный шезлонг, Лев Ильич принялся вставать.

– Попрыгунья, – подмигнул жующий отец.

Настя поцеловала его в просвет между черной бородой и крепким носом:

– Спасибо, *papa*!

– Покажись, русская красавица.

Она вмиг отпрянула, встала в первую позицию, развела руками: летнее оливковое платье с вышивкой, голые плечи, бисерная лента вокруг головы, вспыхивающий бриллиант на средостении длинных ключиц.

– Voila!

– Леди Макбет Мценского уезда! – белозубо засмеялся отец.

– Сережа, бог с тобой! – махнула салфеткой мать.

– Хоть сейчас под венец! – стоял, держа перед собой длиннющие руки, Лев Ильич.

– Типун, брат, тебе на язык! – Отец подцепил вилкой алый пласт семги, шлепнул себе в тарелку.

– Давеча, Настенька, когда мы про Усача говорили, я едва удержался, чтоб не вручить вам, – полез во внутренний карман узкого пиджака Лев Ильич. – И слава богу, что не поспешил!

– Поспесишь – людей насмешишь! – Отец принялся лихо кромсать семгу.

Лев Ильич протянул Насте костлявый кулак, раскрыл. На смуглой, сухой и плоской, как деревяшка, ладони лежала золотая брошь, составленная из латинских букв.

– “Transcendere!” – прочитала Настя. – А что это?

– “Преступи пределы!” – перевел Лев Ильич.

– Ну, брат! – Отец замер с вилкой у рта, покачал крутолобой головой. – А меня упрекаешь в буквальном понимании!

– Позвольте, Настенька, я вам уж и пришпилю... – Лев Ильич, как богомол, угрожающе занес руки.

Настя приблизилась, отвернув голову и глядя в окно на двух белобрысых близнецов, детей кухарки, идущих по воду с одним коромыслом и пятью ведрами. “Зачем им одно коромысло?” – подумала она. Прокуренные пальцы с огромными толстыми ногтями зашевелились у нее на груди.

– День рождения, конечно, не именины... но, коли уж Сергей Аркадьевич – поборник прогресса...

– Вот испорти только мне аппетит! – сочно жевал отец.

“Как же пять ведер повесить на одно коромысло? Странно...”

– Ну вот... – Лев Ильич опустил руки и, шурясь, резко отклонился назад, словно собираваясь со всего маха ударить Настю своей маленькой головой. – А вам к лицу.

– Мерсі, – быстро присела Настя.

– Вполне сочетаются. – Мать смотрела на бриллиант и на брошь.

– Вот отец Андрей ка-а-к возьмет да ка-а-к подарит Настасье Сергеевне еще какой-нибудь *biyou*, вот тогда ка-а-к станет наша Настасья Сергеевна елкою рождественской! – разрезая теплую булку, подмигнул отец дочери.

– А ты, *rara*, меня в угол поставишь?

Все засмеялись.

– Давайте кофий пить, – вытер полные губы отец.

– Барин, сливки простыли... Подогреть? – спросил конопатый Павлушка.

– Я третий раз тебе говорю – не называй меня барином, – раздраженно качнул крепкими плечами отец. – Мой дед землю пахал!

– Простите, Сергей... А-рыка-диевич... сливки, стало быть...

– Ничего греть не надо.

Вкус кофе напомнил Насте про затон.

– Я же не успею! Уже восемь пробило! – вскочила со стула она.

– Что такое? – подняла красивые брови мать.

– Раковина!

– Ах, сегодня же солнце...

Настя выбежала с веранды.

– Что стряслось? – спросил, намазывая булку маслом, Лев Ильич.

– *Amore more ore re!* – ответил, прихлебывая кофе, отец.

Спрыгнув с крыльца, Настя побежала к затону. Навстречу ей из-под горки медленно шли белобрысые близнецы, неся на перевернутом коромысле пять нанизанных полных ведер.

– Вот оно что! – улыбнулась им Настя.

Босоногие близнецы главели на нее, забыв про тяжесть ноши. У одного в ноздре дрожала молочного цвета сопля. Вода капала с пяти ведер.

Гранитное полукольцо затона, пораженное белесой сыпью мха, тяжеловесный силуэт дуба, бархатные листья орешника, световая рябь на суровом войске осоки.

Настя сошла к темно-зеленой воде по мшистым ступеням, замерла: солнечные часы на треснутой колонне показывали четверть девятого. Сырая прохлада нависала над водой еле различимым туманом. В центре затона по колено в воде стоял мраморный Атлант, держащий на желто-белых мускулах спины хрустальный шар. Птичий помет покрывал плечи и голову изваяния, но шар светился прозрачной чистотой – птицы не могли усидеть на полированном стекле.

Настя прищурила левый глаз: в шаре расплывались громадные листья, стволы невиданных растений, играли радуги.

– Подари мне, о Солнце! – зажмурились глаза.

Четверть часа пролетела как миг. Настя открыла глаза. Широкий поток солнечного света бил сквозь дубовую крону в хрустальный шар, преломляясь, вытягивался из шара золотой спицей, вонзающейся в толщу воды.

Затаив дыхание, Настя смотрела.

Луч медленно полз по воде, она исходила нежным паром.

– Благодарю тебя... о, благодарю... – шептали Настины губы.

Мгновение Тайны Света прошло.

Луч погас так же неожиданно, как вспыхнул.

Сорвав молодую ветку орешины и трогая губы нежными листьями, Настя возвращалась домой через Старый сад. Открывала прелую калитку, проходила сквозь ряды вишен, стояла возле синих пчелиных домиков, отмахиваясь веткой от пчел. Минуя Новый сад со стеклянным конусом оранжереи, побежала по пыльным доскам мимо овина, сенных сараев, скотного двора.

С конюшни долетели звуки спорящих голосов. Три девушки с пустыми лукошками со смехом выбежали из ворот конюшни в сторону Нового сада, но, завидя Настю, остановились, поклонились.

– Что там? – подошла Настя.

– Павлушку сечь привяли, Настасья Сяргевна.

– За что?

– Слыхать, за “барина”.

Настя шагнула к воротам. Девушки побежали в сад.

– Дядя Митяй! Дядя Митяй! – слышался визгливый голос Павлушки.

– Не полошись, не полошись... – басил конюх.

Настя шагнула в ворота, но остановилась. Повернулась, прошла вдоль бревенчатых стен, заглянула в мутное оконце. Разглядела, как в полутьме конюшни конюхи Митяй и Дубец укладывают Павлушку на скамью. Лакейские темно-синие обтяжные панталоны его были спущены, исподнее сбилось к щиколоткам. Конюхи быстро привязали его, Дубец сел в изголовье, держа за руки. Рыжебородый коренастый Митяй вытянул из ведра с соленой водой пучок длинных розог, встряхнул над головой, перекрестился и стал сильно, с отяжкой сечь Павлушку по небольшому бледному заду.

Павлушка завизжал.

– Понимай! Понимай! Понимай! – приговаривал Митяй.

Дубец равнодушно глядел из-под малахая, держа лакея.

Настя смотрела на содрогающиеся в полутьме ягодицы, на сучащие тонкие ноги. Юное тело Павлушки вздрагивало, пытаясь выгнуться от удара, но лавка не пускала его. Он повизгивал в такт ударам.

Сердце тяжело стучало в груди у Насти.

– Пани-май! Пани-май! Пани-май!

– Айя! Айя! Айя!

Сзади кто-то тихо рассмеялся.

Настя обернулась. Рядом стоял деревенский дурачок Порфишка. Рваная белая рубаха его выпросталась из полосатых портов, надетые на босые ноги измочаленные лапти топорились лыками, избитое оспинами лицо светилось тихим безумием.

– А я у бане лягуху запер! Пушай от mine лягухонка родит! – голубоглазо сообщил он и засмеялся, не открывая рта.

Настя отдала ему ореховую ветку и пошла к дому.

К полдню прикатил на новых дрожках отец Андрей. Стройный, высокий, с красивым русским лицом, он сжал Настину голову сильными руками, крепко поцеловал в лоб.

– Ну, Серафима бескрылая, ну, красавица писаная! Ждал, когда на именины позовут, а тут на тебе: шест-над-ца-ти-летие! И не выговоришь сразу!

Он прошуршал лиловой, с синим отливом рясой, и перед лицом Насти возникла коробочка красного сафьяна. Сильные руки батюшки открыли ее: на розовом шелке в углублении лежала черная жемчужина.

“*Papa* как в воду глядел!” – подумала Настя и улыбнулась.

– Се драгоценный жемчуг со дна океана. – Отец Андрей в упор буравил ее сильными честными глазами. – Но не обыкновенный, а черный. Обыкновенный в раковинах растет, раковина под водой открывается, свет попадает, вот он и блестит от свету. А это – другой жемчуг. Черный. Потому как носят его во рту мудрые рыбы в глубине, которые Бога жабрами слушают. Носят тысячу лет, а потом драконами становятся и реки охраняют. Enigma!

– Благодарствуйте, батюшка. – Настя взяла из его рук коробочку. – А как... это носить?

– Это не носить, а хранить надо.

– Как рыба?

– Можно и как рыба! – захохотал отец Андрей и, стремительным движением огладив бороду, огляделся в прохладно-светлом воздухе гостиной. – Ну и когда же прикажут подать?

– погоди, святой отец. – Саблин вошел в гостиную. – Успеешь еще наклюкаться!

Они обнялись – крепкотелые, рослые, похожие бородами и лицами – и трижды громко расцеловались.

– Ох и завидовал я тебе, брат, третьего дня! – Сергей Аркадьевич держал отца Андрея за лиловые плечи. – Черной завистью! Черной завистью!

– Это почему же? – выгнул толстые брови батюшка.

– Сашенька! – закричал на весь дом отец. – Ты только послушай! Еду мимо его подворья, глядь, а у него арестантская рота девок сено прибирает! Да какие девки-то – кровь с молоком! Не то что наши малахольные!

– Да это матушка моя мокровских наняла, – засмеялся отец Андрей. – Они в Мостках стоговали, вот и...

– Не видал, ох не видал я там твоей матушки! Только девки! Одни девки! – захохотал отец.

– Да ну тебя, право! – отмахнулся рукой батюшка.

– Саблин опять пошло шутит? – Мать вошла, поцеловалась с отцом Андреем. – Настенька, пора.

– Уже? – Настя показала ей жемчужину.

– Какая прелесть!

– Черный жемчуг, тааааа.

– У-у-у! – Отец обнял мать сзади, заглянул через плечо. – Из-за моря-окияна, прямо с острова Буяна! Красиво.

Часы пробили полдень.

– Пора, Настюша, – серьезно потрянул головой отец.

– Что ж, пора – так пора, – трепетно вздохнула Настя. – Тогда я... сейчас.

Войдя в свою спальню, она открыла дневник и крупно написала: ПОРА! Сняла с шеи цепочку с бриллиантом, посмотрела. Положила под зеркала рядом с брошью. Открыла коробочку с жемчужиной, посмотрела прямо на нее, потом через зеркало:

– С собой?

Подумала секунду, открыла рот и легко проглотила жемчужину.

Темно-синий шелк кабинета отца, копия звездного неба на потолке, бюст Ницше, слоги книг, огромная древняя секира во всю стену, руки, крепко берущие Настю за плечи.

– Ты сильная?

– Я сильная, *рара*.

– Ты хочешь?

– Я хочу.

– Ты сможешь?

– Я смогу.

– Ты преодолеешь?

– Я преодолею.

Отец медленно приблизился и поцеловал ее в виски.

Красно-каменный забор внутреннего двора, свежая побелка недавно сложенной большой русской печи, голый по пояс повар Савелий с длинной кочергой перед оранжевым печным жерлом, отец, мать, отец Андрей, Лев Ильич.

Няня раздевала Настю, аккуратно укладывая одежду на край грубого дубового стола: платье, нательная рубашка, штаны. Настя осталась стоять голой посреди двора.

– А волосы? – спросил отец.

– Пусть... так, Сережа, – прищурилась мать.

Настя тронула левой рукой косу. Правой прикрыла негустой лобок.

– Жар справный, – выпрямился, отирая пот, Савелий.

– Во имя Вечного, – кивнул ему отец.

Савелий положил на стол огромную железную лопату с болтающимися цепями.

– Ложитесь, Настасья Сергеевна.

Настя неуверенно подошла к лопате. Отец и Савелий подхватили ее, положили спиной на лопату.

– Ноженьки-то вот так... – Белесыми морщинистыми руками повар согнул ей ноги в коленях.

– Прижми руками, – склонился отец.

Глядя в тронутые перьями облаков небо, Настя взяла себя за колени, прижала ноги к груди. Повар стал пристегивать ее цепями к лопате.

– Полегшей-то... – заботливо подняла руки няня.

– Не бойсь, – натягивал цепь Савелий.

– Настенька, выпростай косу, – посоветовала мать.

– Мне и так удобно, тамап.

– Пускай лучше под спиною останется, а то гореть будет, – хмуро смотрел отец Андрей, расставив ноги и теребя руками крест на груди.

– Настенька, вы руками за цепи возьмитесь, – сутуло приглядывался Лев Ильич.

– Не надо, – нетерпеливо отмахнулся отец. – Их лучше – вот что...

Он засунул Настины кисти под цепь, охватившую бедра.

– То правда, – закивал повар. – А то все одно повыбьются, как трепыхать зачнет.

– Тебе удобно, та petite? – Мать взяла дочь за гладкие, быстро краснеющие щеки.

– Да, да...

– Не бойся, ангел мой, главное, ничего не бойся.

– Да, тамап.

– Цепи не давят? – трогал отец.

– Нет.

– Ну, Вечное в помощь тебе. – Отец поцеловал покрытый холодной испариной лоб дочери.

– Держи себя, Настенька, как говорили, – припала мать к ее плечам.

– С Богом, – перекрестил отец Андрей.

– Мы будем рядом, – напряженно улыбался Лев Ильич.

– Золотце мое... – целовала ее стройные ноги няня.

Савелий перекрестился, плюнул на ладони, ухватился за железную рукоять лопаты, крикнул, поднял, пошатнулся и, быстро семеня, с маху задвинул Настю в печь. Тело ее осветилось оранжевым. “Вот оно! Началось!” – успела подумать Настя, глядя в слабо закопченный потолок новой печи. Жар обрушился, навалился страшным красным медведем, выжал из Насти дикий, нечеловеческий крик. Она забилась на лопате.

– Держи! – прикрикнул отец на Савелия.

– Знамо дело... – уперся тот короткими ногами, сжимая рукоять.

Крик перешел в глубокий нутряной рев.

Все сгрудилось у печи, только няня отошла в сторону, отерла подолом слезы и высморкалась.

Кожа на ногах и плечах Насти быстро натягивалась, и вскоре, словно капли, по ней побежали волдыри. Настя извивалась, цепи впились в нее, но удерживали, голова мелко тряслась, лицо превратилось в сплошной красный рот. Крик извергался из него невидимым багровым потоком.

– Сергей Аркадьич, надо б угольки шуровать, чтоб корка схватилась, – облизал пот с верхней губы Савелий.

Отец схватил кочергу, сунул в печь, неумело поворошил угли.

– Да не так, хоссподи! – Няня вырвала у него из рук кочергу и стала подгребать угли к Насте.

Новая волна жара хлынула на тело. Настя потеряла голос и, открывая рот, как большая рыба, хрипела, закатив красные белки глаз.

– Справа, справа, – заглянула в печь мать, направила кочергу няни.

– Я и то вижу, – сильнее заворочала угли та.

Волдыри стали лопаться, брызгать соком, угли зашипели, вспыхнули голубыми языками. Из Насти потекла моча, вскипела. Рывки девушки стали слабнуть, она уже не хрипела, а только раскрывала рот.

– Как стремительно лицо меняется... – пробормотал Лев Ильич. – Уже совсем не ее лицо...

– Угли загорелись! – широкоплече суетился отец. – Как бы не спалить кожу.

– А мы чичас прикроем, и пуцай печется. Теперь уж не вырвется, – выпрямился Савелий.

– Смотри, не сожги мне дочь!

– Знамо дело...

Повар отпустил лопату, взял широкую новую заслонку и прикрыл печной зев. Суета вмиг прекратилась. Всем вдруг стало скучно.

– Тогда ты... того... – почесал бороду отец, глядя на торчащую из печи рукоять лопаты.

– За три часа спекётся, – вытер пот со лба Савелий.

Отец оглянулся, ища кого-то, но махнул рукой:

– Ладно...

– Я вас оставлю, господа, – пробормотала мать и ушла.

Няня тяжело двинулась за ней.

Лев Ильич оцепенело разглядывал трещину на печной трубе.

– А что, Сергей Аркадьевич, – отец Андрей обнадеживающе положил руку на плечо Саблина, – не ударить ли нам по бубендрасам с пикенцией?

– Пока суть да дело, да? – растерянно прищурился на солнце Саблин. – Давай, брат. Ударим.

Железная рукоять вдруг дернулась, жестяная заслонка задребезжала. Из печи послышалось что-то вроде уханья. Отец метнулся, схватил нагретую рукоять, но все сразу стихло.

– Это душа с тела вон уходит, – устало улыбнулся повар.

Вытянутые полукруглые окна столовой, вечерние лучи на взбитом шелке портьер, слои сигарного и папиросного дыма, обрывки случайных фраз, неряшливый звон восьми узких бокалов: в ожидании жаркого гости допивали вторую бутылку шампанского.

Настю подали на стол к семи часам.

Ее встретили с восторгом легкого опьянения.

Золотисто-коричневая, она лежала на овальном блюде, держа себя за ноги с почерневшими ногтями. Бутоны белых роз окружали ее, дольки лимона покрывали грудь, колени и плечи, на лбу, сосках и лобке невинно белели речные лилии.

– А это моя дочь! – встал с бокалом Саблин. – Рекомендую, господа!

Все заплодировали.

Кроме четы Саблиных, отца Андрея и Льва Ильича, за красиво убраным столом сидели супруги Румянцевы и Дмитрий Андреевич Мамут с дочерью Ариной – подругой Насти. Повар Савелий в белом халате и колпаке стоял наготове с широким ножом и двузубой вилкой.

– Excellent! – Румянцева жадно разглядывала жаркое в лорнет. – Как она чудно была сложена! Даже эта двусмысленная поза не портит Настеньку.

– Нет, не могу привыкнуть. – Саблина прижала ладони к своим вискам, закрыла глаза. – Это выше моих сил.

– Сашенька, дорогая, не разрушай нашего праздника. – Саблин сделал знак Павлушке, тот засуетился с бутылками. – Мы не каждый день едим своих дочерей, следовательно, нам всем трудно сегодня. Но и радостно. Так что давайте радоваться!

– Давайте! – подхватила Румянцева. – Я семь часов тряслась в вагоне не для того, чтобы грустить!

– Александра Владимировна просто устала, – положил дымящую сигару в огромную мраморную пепельницу отец Андрей.

– Я прекрасно понимаю материнское чувство, – заворочался толстый, лысый, похожий на майского жука Мамут.

– Голубушка Александра Владимировна, не думайте о плохом, умоляю вас! – прижал руки к груди пучеглазый крупнолицый Румянец. – В такой день грешно печалиться!

– Сашенька, думайте о хорошем! – улыбнулась Румянцева.

– Мы все вас умоляем! – подмигнул Лев Ильич.

– Мы все вам приказываем! – проговорила огненноволосая, усыпанная веснушками Ариша.

Все засмеялись. Павлушка с понурым, опухшим от слез лицом наполнял бокалы.

Саблина облегченно засмеялась, вздохнула, качнула головой.

– Je ne sais ce qui m'a pris...

– Это пройдет, радость моя. – Саблин поцеловал ее руку, поднял бокал. – Господа, я ненавижу говорить тосты. А посему – я пью за преодоление пределов! Я рад, если вы присоединитесь!

– Avec plaisir! – воскликнула Румянцева.

– Присоединяемся! – поднял бокал Румянец.

– Совершенно! – потрянул брылами Мамут.

Бокалы сошлись, зазвенели.

– Нет, нет, нет... – затрясла головой Саблина. – Сережа... мне плохо... нет, нет, нет...

– Ну Сашенька, ну голубушка наша... – надула губы Румянцева, но Саблин властно поднял руку:

– Silence!

Все стихли. Он поставил недопитый бокал на стол, внимательно посмотрел на жену.

– Что – плохо?

– Нет, нет, нет, нет... – быстро трясла она головой.

– Что – нет?

– Мне плохо, Сережа...

– Что – плохо?

– Плохо... плохо, плохо, плохо...

Саблин резко и сильно ударил ее по щеке:

– Что тебе плохо?

Она закрыла лицо руками.

– Что тебе плохо?!

Тишина повисла в столовой. Павлушка горбато замер с бутылкой в руке. Савелий стоял с обреченно-непонимающим лицом.

– Посмотри на нас!

Саблина окаменела. Саблин наклонился к ней и произнес, словно вырезая каждое слово толстым ножом:

– Посмотри. На нас.

Она отняла руки от лица и обвела собравшихся как бы усохшими глазами.

– Что ты видишь?

– Лю... дей.

– Еще что видишь?

– На... стю.

– И почему тебе плохо?

Саблина молчала, вперясь в Настино колено.

– Не стоит так откровенно не любить нас, Александра Владимировна, – тяжело проговорил Мамут.

– Хотя бы учитесь скрывать свою ненависть, Сашенька, – нервно усмехнулась Румянцева.

– Поздновато, – глядела исподлобья Арина. – В сорок-то лет.

– Ненависть разрушительна для души, – хрустнул пальцами отец Андрей. – Ненавидящий страдает сильнее ненавидимых.

– Как это все глупо... – грустно покачал головой Румянцев.

– Зло не глупо. Зло – пошло, – вздохнул Лев Ильич.

Саблина вздрогнула:

– Да нет... господа... я не...

– Что – нет? – сурово смотрел Саблин.

– Я...

– Савелий! Отдай ей нож и двузубец!

Повар осторожно приблизился к Саблиной, протянул приборы ручками вперед.

– Пожалуйста.

Саблина взяла и посмотрела на них, словно видела впервые.

– Ты будешь обслуживать нас, – опустил на свое место Саблин. – Будешь вырезать куски на заказ. Ступай, Савелий.

Повар вышел.

– Давайте есть, господа, пока Настя не остыла! – Саблин заложил себе угол салфетки за ворот. – На правах отца новоиспеченной я заказываю первый кусок: левую грудь! Павлушка! Неси бордо!

Саблина встала, подошла к блюду, воткнула вилку в левую грудь Насти и стала отрезать. Все прислушались. Под коричневой хрустящей корочкой сверкнуло белое мясо с желтоватой полоской жира, потек сок. Саблина положила грудь на тарелку, подала мужу.

– Прошу, господа! Не теряйте времени!

Первой опомнилась Румянцева.

– Сашенька, срежьте мне эдак вот вскользь с ребер, самую капельку!

– А мне окорок! – хлебнул вина Мамут.

– Плечо и предплечье, Александра Владимировна. – Румянцев потер пальцами, словно считая невидимые деньги. – Только, знаете, без руки, вот... самое предплечье, самое вот это...

– Руку можно мне, – скромно кашлянул Лев Ильич.

– А я попрошу голову! – бодро оперся кулаками о стол отец Андрей. – Дабы противостоять *testimonium paupertatis*.

Арина подождала, пока Саблина исполнит все просьбы.

– Александра Владимировна, а можно мне...

И смолкла, глянув на отца.

– Что? – наклонился Мамут к дочери.

Арина прошептала ему на ухо.

– Только скажи как взрослая, а не так, – посоветовал он.

– А как?

Отец шепнул ей на ухо.

– Что тебе, Аринушка? – тихо спросила Саблина.

– Мне... восхолмие Венеры.

– Браво, Арина! – воскликнул Саблин, и гости заплодировали.

Саблина примерилась, заглядывая сверху и снизу: промежность была скрыта между ног.

– Не так оно и просто добраться до тайного уголка! – подмигнул Румянцев, и взрыв смеха заполнил столовую.

– погоди, Саша... – Саблин встал, решительно взялся за Настины колени, потянул, раздвигая. Тазовые суставы захрустели, но ноги не поддались.

– Однако! – Саблин взялся сильнее. Шея его вмиг побагровела, ежик на голове задрожал.

– Повремени, брат Сергей Аркадьич, – встал батюшка. – Тебе сегодня грех надрываться.

– Я что... не казак? Есть еще... и-и-и!.. порох в пороховницах... и-и-и! – кряхтел Саблин.

Отец Андрей взялся за одно колено, Саблин за другое. Потянули, кряхтя, скаля красивые зубы. Сочно треснули суставы, жареные ноги разошлись и развалились, брызгая соком рвущегося мяса. Скрытый ляжками от жара печи, лобок светился нежнейшей белизной и казался фарфоровым. Два темных паховых провала с вывернутыми костями и дымящимся мясом оттеняли его. Поток коричневого сока хлынул на блюдо.

– Сашенька, *s'il vous plaot*, – вытирал руки салфеткой Саблин.

Холодный нож вошел в лобок, как в белое масло: дрожь склеившихся волосков, покорность полупрозрачной кожи, невинная улыбка слегка раздвинутых девичьих половых губ, исходящих нечастыми каплями:

– Прошу, ангел мой.

Лобок лежал на тарелке перед Ариной. Все смотрели на него.

– Жалко такую красоту есть, – нарушил тишину Мамут.

– Как... ангел восковой, – прошептала Арина.

– Господа, дорога каждая минута! – поднял бокал с бордо Саблин. – Не дадим остыть! Ваше здоровье!

Зазвенел хрусталь. Быстро выпили. Ножи и вилки вонзились в мясо.

– М-м-м... м-м-м... м-м-м... – Жующий Румянцев затряс головой, как от зубной боли. – Это что-то... м-м-м... это что-то...

– Magnifique! – рвала зубами мясо Румянцева.
– Хорошо, – жевал Настину щеку отец Андрей.
– Повар у тебя, брат... того... – хрустел корочкой Лев Ильич.
– Прекрасно пропеклось. – Мамут внимательно осмотрел насаженный на вилку кусок и отправил в рот.

– Четверть часа... м-м-м... на углях и три часа в печи... – бодро жевал Саблин.
– Очень правильно, – кивал Мамут.
– Нет... это что-то... это что-то... – жмурился Румянцев.
– Как я обожаю грудинку... – хрустела Румянцева.

Арина осторожно отрезала кусочек лобка, отправила в рот и, медленно жуя, посмотрела в потолок.

– Как? – спросил ее Мамут, прихлебывая вина.

Она пожала пухлыми плечами. Мамут деликатно отрезал от лобка, попробовал:

– М-м-м... сметана небесная... ешь, пока теплое, не кривляйся...

– Сашенька, а что же ты? – Увлажнившиеся глаза Саблина остановились на жене.

– Александра Владимировна, не разрушайте гармонии, – погрозил пальцем Румянцев.

– Да, да... я... непременно... – Саблина рассеянно вглядывалась в безглавое, подплывшее соком тело.

– Позвольте-ка, матушка, вашу тарелку, – протянул руку отец Андрей. – Вам самое деликатное полагается.

Саблина подала ему тарелку. Он воткнул нож под нижнюю челюсть Настиной головы, сделал полукруглый надрез, помог вилок и шмякнул на пустую тарелку дымящийся язык:

– Наинежнейшее!

Язык лежал мясистым знаком вопроса.

– Благодарю вас, батюшка. – С усталой улыбкой Саблина приняла тарелку.

– Ах, какая все-таки прелесть ваша Настенька, – бормотала сквозь мясо Румянцева. – Представьте... м-м-м... всегда, когда ее видела, я думала... как вот... как мы будем... м-м-м... как... нет, это просто потрясающе! Какие тонкие изящные ребра!

– Настасья Сергеевна была удивительным ребенком, – хрустел оплавленной кожей мизинца Лев Ильич. – Однажды я приехал прямо с ассамблеи, устал, как рикша, день жаркий, и натурально, по-простому... м-м-м... решил, знаете ли, так вот прямо в...

– Вина! Вина еще! Павлушка! – вскрикнул Саблин. – Где фалернское?

– Так вы же изволили бордо-с. – Тот завертел белой тонкокожей шеей.

– Дурак! Бордо – это только прелюдия! Тащи!

Лакей выбежал.

– Вкусно, черт возьми, – тучно вздохнул Мамут. – И очень, очень правильно, что без всяких там приправ.

– Хорошее мясо не требует приправ, Дмитрий Андреевич, – откинулся на спинку стула жующий Саблин. – Как любая Ding an sich!

– Истинная правда, – поискал глазами отец Андрей. – А где же, позвольте, это...

– Что, брат?

– Ложечка чайная.

– Изволь! – протянул Саблин.

Батюшка воткнул ложечку в глаз жареной головы, решительно повернул: Настин глаз оказался на ложечке. Зрачок был белым, но ореол остался все тем же зеленовато-серым. Аппетитно посолив и поперчив глаз, батюшка выжал на него лимонного сока и отправил в рот.

– А я у рыбы глаза не могу есть, – полусонно произнесла медленно жующая Арина. – Они горькие.

– У Настеньки не горькие, – глотнул вина батюшка. – А очень даже сладкие.

– Она любила подмигивать. Особенно на латыни. Ее за это три раза в кондуит записывали.

– Настя умела удивительно смотреть, – заговорила Саблина, задумчиво двигая ножом на тарелке недоеденный язык. – Когда я ее родила, мы жили в Петербурге. Каждый день приходила кормилица кормить Настеньку. А я сидела рядом. И однажды Настя очень странно, очень необычно на меня посмотрела. Она сосала грудь и смотрела на меня. Это был какой-то совсем не детский взгляд. Мне, право, даже стало не по себе. Я отвернулась, подошла к окну и стала в него глядеть. Была зима, вечер. И окно все затянуло изморозью. Только в середине оставалась проталина. И в этой черной проталине я увидела лицо моей Настеньки. Это было лицо... не знаю, как объяснить... лицо очень взрослого человека. Который был значительно старше меня. Я испугалась. И почему-то сказала: “Батый”.

– Батый? – нахмурил брови отец Андрей. – Тот самый? Хан Батый?

– Не знаю, – вздохнула Саблина. – Возможно, и не тот. Но тогда я сказала – “Батый”.

– Выпей вина, – пододвинул ей бокал Саблин.

Она послушно выпила.

– Вообще иногда в родном человеке может черт-те что померещиться. – Румянцев протянул пустую тарелку. – Пожалуйста, с бедрышка вон с того.

– С какого? – встала Саблина.

– Что позажаристей.

Она стала вырезать кусок.

– Сергей Аркадьич, – вытер жирные губы Мамут, – полноте мучить супругу. Пригласите повара.

– Да что вы, господа, – улыбалась Саблина. – Мне чрезвычайно приятно поухаживать за вами.

– Я берегу здоровье моего повара, – глотнул вина Саблин. – Сашенька, и мне потом шеечки с позвонками... Да! Берегу. И ценю.

– Повар хороший, – хрустел Настиним носом отец Андрей, – хоть и деревенский.

– Деревенский, брат! А гаршнепа в бруснике делает лучше, чем у Тестова. Все соусы знает. Помнишь на Пасху поросят?

– А как же.

– Я ему восемь поваренных книг привез. Да-да-да! Повар! Что ж это я... – Дожевывая, Саблин встал, ухватился за Настину ступню, повернул.

Затрещали кости.

– Полосни-ка вот здесь, Сашенька...

Саблина полоснула. Он оторвал ступню, взял ополовиненную бутылку фалернского и пошел из столовой на кухню. В душном ванильном воздухе кухни повар трудился над лимонно-розовой пирамидой торта, покрывая его кремовыми розами из бумажной трубки. Кухарка рядом взбивала сливки к голубике.

– Савелий! – Саблин поискал глазами стакан, увидел медную кружку. – Ну-ка, бери.

Вытерев испачканные кремом руки о фартук, повар смиренно взял кружку.

– Ты сегодня постарался, – наполнил кружку до краев Саблин. – Выпей в память о Насе.

– Благодарствуйте. – Повар осторожно, чтобы не расплескать вино, перекрестился, поднес кружку к губам и медленно выцедил до дна.

– Ешь, – протянул ему ступню Саблин.

Савелий взял ступню, примерился и с силой откусил. Саблин в упор смотрел на него. Повар жевал тяжело и углубленно, словно работал. Куцая борода его ходила вверх-вниз.

– Хороша моя дочь? – спросил Сергей Аркадьевич.

– Хороша, – проглотил повар. – Поупрело славно. Печка ваша новая ухватиста.

Саблин хлопнул его по плечу, повернулся и пошел в столовую.

Там спорили.

– Мой папаша сперва сеял чечевицу, а как всходила – сразу запахивал и сеял пшаничку, – увесисто рассуждал отец Андрей. – Пшаничка ко Преображению была такой, что мы с сестренкой в ней стоя в прятки играли. Ее и в ригу волоочь не надобно было – пихнул сноп, он и посыпался. До весны, бывалоча, соломой топили. А вы мне – паровая молотилка!

– Тогда, батюшка, давайте в каменный век вернемся! – желчно смеялся Румянцев. – Будем как в песенке: лаптем падут, ногтем жнут!

– Можно и в каменный век, – раскуривал потухшую сигару Мамут. – Было б что пахать.

– Неужели опять про хлеб? – запихнул новую салфетку за ворот Саблин. – Черт его побери совсем! Надоело. Господа, неужели других сюжетов нет?

– Это все мужчины, Сергей Аркадьич, – крутила бокал с вином Румянцева. – Их хлебом не корми, дай про что-нибудь механическое поспо...

– Что?! – притворно-грозно оперся кулаками в стол Саблин. – Каким еще хле-бом?! Каким, милостивая государыня, хле-бом?! Я вас не на хлеб пригласил! Хле-бом! Это каким же, позвольте вас спросить, хлебом я кормлю мужчин?! А? Вот этим, что ли? – Он схватил тарелку Арины с недоеденным лобком. – Это что, по-вашему, – булка французская?

Румянцева уставилась на него, полуоткрыв рот.

Повисла тишина.

Мамут выпустил изо рта нераскуренную сигару, подался массивной головой вперед, словно собираясь завалиться на стол, колыхнул пухлым животом и утробно захохотал. Румянцев втянул узкую голову в стоячий воротник, замахал руками, словно отгоняя невидимых пчел, взвизгнул и пронзительно захихикал. Лев Ильич икнул, схватился руками за лицо, будто собираясь оторвать его от черепа, и нервно засмеялся, дергая костлявыми плечами. Отец Андрей хлопнул ладонями по столу и захохотал здоровым русским смехом. Арина прыснула в ладонь и беззвучно затряслась, словно от приступа рвоты. Румянцева завизжала, как девочка на лужайке. Саблина покачала головой и устало рассмеялась. Саблин откинулся на стул и заревел от восторга.

Минуты две хохот сотрясал столовую.

– Не могу... ха-ха-ха... смерть, смерть моя... ох... – вытер слезы отец Андрей. – Тебя, Сережа, надобно на каторгу сослать...

– За что... ха-ха... за каламбуризм? – тяжело успокаивался Мамут.

– За пытку смехом... ой... хи-хи-хи... – извивался Румянцев.

– Сергей Аркадьевич – настоящий... ох... инквизитор... – вздохнула раскрасневшаяся Румянцева.

– Палач! Палач! – качал головой Лев Ильич.

– Аринушка, прошу вас. – Саблин поставил перед ней тарелку.

– Как же я теперь есть буду? – искренне спросила она.

Новый приступ хохота обвалился на гостей. Хохотали до слез, до колик. Мамут уперся багровым лбом в стол и рычал себе в манишку. Румянцев сполз на пол. Его супруга визжала, всунув в рот кулак. Лев Ильич плакал навзрыд. Батюшка хохотал просто и здорово, как крестьянин. Саблин хрюкал, сопел, хрипел, молотя ногами по полу. Арина мелко хихикала, словно вышивала бисером.

– Ну все! Все! Все! – вытер мокрое лицо Саблин. – Finita!

Стали приходить в себя.

– Похохотать хорошо, конечно, голову прочищает... – тяжело выдохнул Мамут.

– Говорят, можно эдаким манером и заворот кишок схлопотать, – глотнул вина Румянцев.

– От доброго смеха никто не умирал, – огладил бороду батюшка.

– Господа, продолжим, продолжим, – потер руки Саблин. – Пока Настя теплая. Сашенька-свет, положи-ка ты мне... – он мечтательно прищурился, – потрошков!

- А мне – шейки.
- Мне – плечико, Сашенька, голубушка...
- Бедро! Только бедро!
- Можно... там вот, где корочка отстает?
- Александра Владимировна, от руки будьте любезны.
- И вскоре все уже молча жевали, запивая мясо вином.
- Все-таки... необычный вкус у человеческого мяса... а? – пробормотал Румянцев. – Дмитрий Андреевич, вы не находите?
- Мясо вообще странная пища, – тяжело пережевывал Мамут.
- Это почему же? – спросил Саблин.
- Живое потому что. А стоит ли убивать живое исключительно ради поедания?
- Жалко?
- Конечно, жалко. Мы на прошлой неделе в Путятино ездили к Адамовичам. Только от станции отъехали – ступица подломилась. Дотащились до тамошнего шорника. А пока он новую ладил, я на ракиту присел, эдак в теньке. Ну и подошла ко мне свинья. Обыкновенная хавронья. Встала и смотрит на меня. Выразительно смотрит. Живое существо. Целый космос. А для шорника – просто семь пудов мяса. И я подумал: какая все-таки это дичь – пожирать живых существ! Прерывать жизнь, разрушать гармонию только для процесса переваривания пищи. Который кончается известно чем.
- Вы просто как Толстой рассуждаете, – усмехнулась Румянцева.
- По проблеме вегетарианства у меня с графом нет расхождений. Вот непротивление злу – это увольте.
- Что значит – прерывать жизнь? – перчил печень Саблин. – А у яблока вы не прерываете жизнь? У ржаного колоса?
- Колосу не больно. А свинья визжит. Значит, страдает. А страдание – нарушение мировой гармонии.
- А может, яблоку тоже больно, когда им хрустят, – тихо проговорил Лев Ильич. – Может, оно вопиет от боли, корчится, стонет. Только мы не слышим.
- Ага! – заговорила вдруг Арина, вытянув из губ лобковый волос Насти. – У нас прошлым летом рощу рубили, а маменька покойная всегда окна закрывала. Я говорю: что ты, маменька? А она – деревья плачут.
- Некоторое время ели молча.
- Бедра удивительно удались, – покачал головой Румянцев. – Сочные... как не знаю что... сок так и брызжет...
- Русская печь – удивительнейшая вещь, – разрезал почку Саблин. – Разве в духовом шкафу так истомится? А на открытых углях?
- На открытых углях только свинину жарить можно, – тяжело кивал Мамут. – Постное мясо сохнет.
- То-то и оно.
- Но жарят же черкесы шашлык? – подняла пустой бокал Румянцева.
- Шашлык, голубушка, – вороний корм. А тут – три пуда мяса! – кивнул Саблин на блюдо с Настей.
- А я люблю шашлыки, – вздохнул Лев Ильич.
- Нальет мне кто-нибудь вина? – трогала свой нос бокалом Румянцева.
- Не зевай, пентюх! – прикрикнул Саблин на Павлушку.
- Лакей кинулся наливать.
- А Александра Владимировна вообще не едят-с, – доложила Арина.
- Неужели невкусно? – развел масляные руки Румянцев.
- Нет, нет. Очень вкусно, – вздохнула Саблина. – Просто я... устала, право.

- Вы мало пьете, – заключил Мамут. – Поэтому и кусок в горло не лезет.
- Выпей как положено, Сашенька! – Саблин поднес полный бокал к ее устало-красивым губам.
- Выпейте, выпейте с нами, – возбужденно моргал Румянцев.
- Не манкируйте, Сашенька! – улыбалась порозовевшая Румянцева.
- Саблин взял жену левой рукой за шею и медленно, но решительно влил вино ей в рот.
- Ой... Сережа... – выдохнула она.
- Все заплотировали.
- И теперь – капитальнейшей закуски! – командовал Мамут.
- Чего-нибудь оковалочного, с жирком, Александра Владимировна, – подмигивал Лев Ильич.
- Я знаю, что надо! – Саблин вскочил, схватил нож и с размаху вонзил в живот Насте. – Потрошенный! Это самая-пресамая закуска!
- Открыв ножом ком кишок, он подцепил его вилкой и кинул на тарелку жены:
- В потрохе – самая суперфлю, самая витальность! Съешь, радость моя! У тебя сразу все пройдет!
- Правильно! Очень правильно! – тряс вилкой Мамут. – Я куропаток только с потрохами ем.
- Я не знаю... может, лучше белого мяса? – Саблина смотрела на серовато-белые кишки, сочащиеся зеленовато-коричневым соком.
- Съешь немедленно, умоляю! – взял ее за затылок Саблин. – Будешь потом благодарить всех нас!
- Скушайте, Сашенька!
- Александра Владимировна, ешьте непременно! Это приказ свыше!
- Нельзя отлынивать от еды!
- Саблин насадил на вилку кусок, поднес ко рту жены.
- Только не надо меня кормить, Сереженька, – усмехнулась она, беря у него вилку и пробуя.
- Ну как тебе? – смотрел в упор Саблин.
- Вкусно, – жевала она.
- Милая моя жена! – Он взял ее левую руку, поцеловал. – Это не просто вкусно. Это божественно!
- Согласен, – откликнулся отец Андрей. – Есть свою дочь – божественно. Жаль, что у меня нет дочери.
- Не жалею, брат, – отрезал себе кусок бедра Саблин. – У тебя духовных чад предостаточно.
- Я не вправе их жарить, Сережа.
- Зато я вправе! – Мамут ущипнул жующую дочь за щеку. – Ждать не так уж много осталось, егоза.
- Когда у вас? – спросил отец Андрей.
- В октябре. Шестнадцатого.
- Ну, еще долго.
- Два месяца быстро пролетят.
- Ариша, ты готовишься? – спросила Румянцева, разглядывая отрезанный Настин палец.
- Надоело ждать, – отодвинула пустую тарелку Арина. – Всех подруг уж зажарили, а я все жду. Таню Бокшееву, Адель Нашекину, теперь вот Настеньку.
- Потерпи, персик мой. И тебя съедим. Деток непременно надобно есть. Зачем рожали, а? Есть, есть, есть!
- Вы, Арина Дмитриевна, будете очень вкусны, уверен! – подмигнул Лев Ильич.

- С жирком нагульным, а как же! – засмеялся, теребя ей ухо, Мамут.
- Зажарим, как поросеночка, – улыбался Саблин. – В октябре-то под водочку под рябиновую как захрустит наша Аринушка – у-у-у!
- Волнуетесь, поди? – грыз сустав Румянцев.
- Ну... – мечтательно закатила она глаза и повела пухлым плечом, – немного. Очень уж необычно!
- Еще бы!
- С другой стороны – многих жарят. Но я... не могу представить, как я в печи буду лежать.
- Трудно вообразить?
- Ага! – усмехнулась Арина. – Это же так больно!
- Очень больно, – серьезно кивнул отец Андрей.
- Ужасно больно, – гладил ее пунцовую щеку Мамут. – Так больно, что сойдешь с ума перед тем, как умереть.
- Не знаю, – пожала плечами она. – Я иногда свечку зажгу, поднесу палец, чтоб себя испытать, глаза зажмурю и решаю про себя: вытерплю до десяти, а как начну считать – раз, два, три, – и не могу больше! Больно очень! А в печи? Как же я там?
- В печи! – усмехнулся Мамут, перча новый кусок. – Там не пальчик, а вся ты голенькая лежать будешь. И не над свечкой за семишник, а на углях раскаленных. Жар там лютый, адский. Арина на минуту задумалась, чертя ногтем по скатерти.
- Александра Владимировна, а Настя сильно кричала?
- Очень, – медленно и красиво ела Саблина.
- Билась до последнего, – закурил папиросу Саблин.
- Арина зябко обняла себя за плечи:
- Танечка Бокшеева, когда ее к лопате притянули, в обморок упала. А в печи очнулась и закричала: “Мамочка, разбуди меня!”
- Думала, что это сон? – улыбочиво таращил глаза Румянцев.
- Ага!
- Но это был не сон, – деловито засуетился вокруг блюда Саблин. – Господа, добавки! Торопитесь! Жаркое не едят холодным.
- С удовольствием, – протянул тарелку отец Андрей. – Есть надо хорошо и много.
- В хорошее время и в хорошем месте. – Мамут тоже протянул свою.
- И с хорошими людьми! – Румянцева последовала их примеру.
- Саблин кромсал еще теплую Настю:
- Durch Leiden Freude.
- Вы это серьезно? – раскуривал потухшую сигару Мамут.
- Абсолютно.
- Любопытно! Поясните, пожалуйста.
- Боль закаляет и просветляет. Обостряет чувства. Прочищает мозги.
- Чужая или своя?
- В моем случае – чужая.
- Ах, вот оно что! – усмехнулся Мамут. – Значит, вы по-прежнему неисправимый ницшеанец?
- И не стыжусь сего.
- Мамут разочарованно выпустил дым.
- Вот те на! А я-то надеялся, что приехал на ужин к такому же, как я, гедонисту. Значит, вы зажарили Настю не из любви к жизни, а по идеологическим соображениям?
- Я зажарил свою дочь, Дмитрий Андреевич, из любви к ней. Можете считать меня в этом смысле гедонистом.
- Какой же это гедонизм? – желчно усмехнулся Мамут. – Это толстовщина чистой воды!

- Лев Николаевич пока еще не жарил своих дочерей, – деликатно возразил Лев Ильич.
- Да и вряд ли зажарит, – вырезал кусок из Настиной ноги Саблин. – Толстой – либеральный русский барин. Следовательно – эгоист. А Ницше – новый Иоанн Креститель.
- Демагогия, – хлебнул вина Мамут. – Ницше вам всем залепил глаза. Всей радикально мыслящей интеллигенции. Она неспособна просто и здраво видеть сущее. Нет, это бред какой-то, всеобщее помешательство, второе затмение умов! Сперва Гегель, на которого мой дедушка молился в буквальном смысле слова, теперь этот усатый!
- Что вас так раздражает в Ницше? – раскладывал вырезанные куски по тарелкам Саблин.
- Не в нем, а в русских ницшеанцах. Слепота раздражает. Ницше не добавил ничего принципиально нового к мировой философской мысли.
- Ой ли? – Саблин передал ему тарелку с правой грудью.
- Сомнительное заявление, – заметил Лев Ильич.
- Ничего, ни-че-го принципиально нового! Вся греческая литература ницшеанская! От Гомера до Аристофана! Аморализм, инцест, культ силы, презрение к быдлу, гимны элитарности! Вспомните Горация! “Я презираю темную толпу!” А философы? Платон, Протагор, Антисфен, Кинесий? Кто из них не призывал преодолеть человеческое, слишком человеческое? Кто любил демос? Кто говорил о милосердии? Разве что один Сократ.
- О сверхчеловеке заговорил первым только Ницше, – возразил Саблин.
- Чушь! Шиллер употреблял это слово! О сверхчеловеке говорили многие – Гете, Байрон, Шатобриан, Шлегель! Да что Шлегель, черт возьми, – в статье Раскольникова весь ваш Ницше! С потрохами! А Ставрогин, Версиков? Это не сверхчеловеки? “...Свету провалиться, лишь бы мне всегда чай пить!”
- Все великие философы подводят черту, так сказать, общий знаменатель под интуитивно накопленным до них, – заговорил отец Андрей. – Ницше не исключение. Он же не в чистом поле философствовал.
- Ницше не подводил никакого общего знаменателя, никакой там черты! – резко потрянул головой Саблин. – Он сделал великий прорыв! Он первый в истории человеческой мысли по-настоящему освободил человека, указал путь!
- И что же это за путь? – спросил Мамут.
- “Человек есть то, что должно преодолеть!” Вот этот путь.
- Все мировые религии говорят то же самое.
- Подставляя другую щеку, мы ничего не изменяем в мире.
- А толкая падающего – изменяем? – забарабанил пальцами по столу Мамут.
- Еще как изменяем! – Саблин поискал глазами соусник, взял; загустевший красный соус потек на мясо. – Освобождая мир от слабых, от нежизнеспособных, мы помогаем здоровой молодой поросли!
- Мир не может состоять исключительно из сильных, полнокровных. – Осторожно положив дымящуюся сигару на край пепельницы, Мамут отрезал кусочек мяса, сунул в рот, захрустел поджаристой корочкой. – Попытки создания так называемого “здорового” государства были, вспомните Спарту. И чем это кончилось? Все те, кто толкал падающих, сами побились.
- Саблин ел с таким аппетитом, словно только что сел за стол:
- Спарта – не аргумент... м-м-м... У Гераклита и Аристокла не было опыта борьбы с христианством за новую мораль. Поэтому их идеи государства остались утопическими... Нынче другая ситуация в мире... м-м-м... Мир ждет нового мессии. И он грядет.
- И кто же он, позвольте вас спросить?
- Человек. Который преодолел самого себя.
- Демагогия... – махнул вилок Мамут.
- Мужчины опять съехали на серьезное, – громко обсасывала ключицу Румянцева. Отец Андрей положил себе хрена:

– Я прочитал две книги Ницше. Талантливо. Но в целом мне чужда его философия.
– Зачем тебе, брат, философия? У тебя есть вера, – пробормотал с полным ртом Саблин.
– Не фиглярствуй, – кольнул его серьезным взглядом отец Андрей. – Философия жизни есть у каждого человека. Своя собственная. Даже у идиота есть философия, по которой он живет.

– Это что... идиотизм? – осторожно спросила Арина.

Саблин и Мамут засмеялись, но отец Андрей перевел серьезный взгляд на Арину.

– Да. Идиотизм. А моя доктрина жизни – живи и давай жить другому.

– Это очень правильная доктрина, – тихо произнесла Саблина.

Все вдруг замолчали и долго ели в тишине.

– Вот и тихий ангел пролетел, – вздохнул Румянцев.

– Не один. А целая стая, – протянула пустой бокал Арина.

– Не наливай ей больше, – сказал Мамут склоняющемуся с бутылкой Павлушке.

– Ну папочка!

– В твои годы человек должен быть счастлив и без вина.

– Живи и давай жить другому... – задумчиво проговорил Саблин. – Что ж, Андрей Иванович, это философия здравого смысла. Но!

– Как всегда – но! – усмехнулся батюшка.

– Уж не обессудь. Твоя философия сильно побита молью. Как и вся наша старая мораль.

В начале девятнадцатого века я бы, безусловно, жил по этой доктрине. Но сегодня мы стоим на пороге нового столетия, господа. До начала двадцатого века осталось полгода. Полгода! До начала новой эры в истории человечества! Поэтому я пью за новую мораль грядущего века – мораль преодоления!

Он встал и осушил бокал.

– Что же это за новая мораль? – смотрел на него отец Андрей. – Без Бога, что ли?

– Ни в коем случае! – скрипнул ножом, разрезая мясо, Саблин. – Бог всегда был и останется с нами.

– Но ведь Ницше толкует о смерти Бога?

– Не понимай это буквально. Каждому времени соответствует свой Христос. Умер старый гегелевский Христос. Для грядущего века потребуется молодой, решительный и сильный Господь, способный преодолеть! Способный пройти со смехом по канату над бездной! Именно – со смехом, а не с плаксивой миной!

– То есть для нового века нужен Христос – канатный плясун?

– Да! Да! Канатный плясун! Ему мы будем молиться всей душой, с ним преодолеем себя, за ним пойдем к новой жизни!

– По канату?

– Да, любезнейший Дмитрий Андреевич, по канату! По канату над бездной!

– Это сумасшествие, – покачал головой отец Андрей.

– Это – здравый смысл! – Саблин хлопнул ладонью по столу.

Посуда зазвенела.

Саблина зябко повела плечами:

– Господи, как я устала от этих споров. Сережа, хотя бы сегодня можно обойтись без философии?

– Русские мужчины летят на философию, как мухи на мед! – произнесла Румянцев.

Все засмеялись.

– Александра Владимировна, спойте нам! – громко попросил Румянцев.

– Да, да, да! – вспомнил Мамут. – Спойте! Спойте обязательно!

– Сашенька, спойте!

Саблина сцепила замком тонкие пальцы, потерла ими:

– Я, право... сегодня такой... день.

– Спой, радость моя, – вытер губы Саблин. – Павлушка! Неси гитару!

Лакей выбежал.

– А я тоже выучилась на гитаре играть! – сказала Арина. – Покойная татап говорила, что есть романсы, которые хороши только под гитару. Потому как рояль – строгий инструмент.

– Святая правда! – улыбался Румянцев.

– Две гитары, зазвенев, жалобно заныли... – угрюмо осматривал стол Мамут. – Позвольте, а где горчица?

– Je vous en prie! – подала Румянцева.

Павлушка принес семиструнную гитару. Саблин поставил стул на ковер. Александра Владимировна села, положила ногу на ногу, взяла гитару и, не пробуя струн, сразу заиграла и запела несильным, проникновенным голосом:

Ты помнишь ли тот взгляд красноречивый,
Который мне любовь твою открыл?
Он в будущем мне был залог счастливый,
Он душу мне огнем воспламенил.

В тот светлый миг одной улыбкой смела
Надежду поселить в твоей груди...
Какую власть я над тобой имела!
Я помню все... Но ты – ты помнишь ли?

Ты помнишь ли минуты ликования,
Когда для нас так быстро дни неслись?
Когда ты ждал в любви моей признанья
И верным быть уста твои клялись?

Ты мне внимал, довольный, восхищенный,
В очах твоих горел огонь любви.
Каких мне жертв не нес ты, упоенный?
Я помню все... Но ты – ты помнишь ли?

Ты помнишь ли, когда в уединенье
Я столько раз с заботою немой
Тебя ждала, завидя в отдаленье;
Как билась грудь от радости живой?

Ты помнишь ли, как в робости невольной
Тебе кольцо я отдала с руки?
Как счастьем я твоим была довольна?
Я помню все... Но ты – ты помнишь ли?

Ты помнишь ли, вечерними часами
Как в песнях мне страсть выразить умел?
Ты помнишь ли ночь, яркую звездами?
Ты помнишь ли, как ты в восторге млел?

Я слезы лью, о прошлом грудь тоскует,

Но хладен ты и сердцем уж вдали!
Тебя тех дней блаженство не чарует,
Я помню все... Но ты – ты помнишь ли?

- Браво! – вскрикнул Румянцев, и все зааплодировали.
- Одна радость у меня, один свет невечерний... – Саблин поцеловал жене руку.
- Господа, давайте же выпьем за здоровье Александры Владимировны! – встал Румянцев.
- Непременно! – заворочался, вставая, Мамут.
- За вас, дорогая Сашенька! – вытянула руку с бокалом Румянцева.
- Благодарю вас, господа, – подошла к столу Саблина.
- Муж дал ей бокал.
- Лев Ильич встал с бокалом в руке.

– Господа, позвольте мне сказать, – заговорил он. – Александра Владимировна – удивительный человек. Даже такой закоренелый женоненавистник, эгоист и безнадежный скептик, как я, и то не устоял перед очарованием хозяйки Саблино. Шесть... нет... почти уж семь лет тому назад оказался я здесь впервые и... – он опустил глаза, – влюбился сразу. И все эти семь лет я люблю Александру Владимировну. Люблю, как никого боле. И... я не стесняюсь говорить об этом сегодня. Я люблю вас, Александра Владимировна.

Втянув голову в костистые плечи, он стоял, вращая узкий бокал в своих больших худых ладонях.

Саблина подошла к нему, поднялась на мысках и поцеловала в щеку.

– Сашенька, поцелуй его как следует, – произнес Саблин.

– Ты разрешаешь? – Она в упор разглядывала смущенное лицо Льва Ильича.

– Конечно.

– Тогда поддержи. – Она отдала мужу бокал, обняла Льва Ильича за шею и сильно поцеловала в губы, прижавшись к нему тонким пластичным телом.

Пальцы Льва Ильича разжались, его бокал выскользнул, упал на ковер, но не разбился. Лев Ильич сжал талию Саблиной своими непомерно длинными руками, ответно впился ей в губы. Они целовались долго, покачиваясь и шурша одеждой.

– Не сдерживай себя, радость моя, – смотрел Саблин наливающимися кровью глазами.

Саблина застонала. Ноги ее дрогнули. Жилистые пальцы Льва Ильича сжали ее ягодицы.

– Только здесь, прошу вас, – забормотал Саблин. – Здесь, здесь...

– Нет... – с трудом отняла губы Саблина. – Ни в коем случае...

– Здесь, здесь, умоляю, радость моя! – опустил на колени стремительно багровеющий Саблин.

– Нет, ни за что...

– Лев Ильич, умоляю! Прошу тебя, Христа ради!

Лев Ильич обнял Саблину.

– Здесь ребенок, вы с ума сошли!

– Мы все дети на этой земле, Александра Владимировна, – улыбнулся Мамут.

– Умоляю, умоляю! – всхлипывал Саблин.

– Ни за что...

– Сашенька, как вы очаровательны! Как я вам завидую! – восторженно приподнялась Румянцева.

– Умоляю, умоляю тебя... – Саблин пополз к ней на коленях.

– Ах, оставьте! – попыталась вырваться Саблина, но Лев Ильич держал ее.

– В искренней нежности нет греха, – теребил бороду отец Андрей.

Саблин схватил жену за ноги, стал задира́ть ей платье. Лев Ильич сжимал ее стан, припав губами к шее. Обнажились стройные ноги без чулок, сверкнули кружева нательной рубашки, Саблин вцепился в белые панталоны, потянул.

– Не-е-е-т!!! – закричала Саблина, запрокинув голову.

Саблин окаменел.

Оттолкнув лицо Льва Ильича, она выбежала из столовой.

Саблин остался сидеть на ковре.

– Ступай за ней, – хрипло сказал он Льву Ильичу.

Тот нелепо стоял – краснолицый, с разведенными клешнями рук.

– Ступай за ней!! – выкрикнул Саблин, так что дрогнули подвески хрустальной люстры.

Лев Ильич, как сомнамбула, побрел из столовой.

Саблин прижал ладони к лицу и тяжело, с дрожью выдохнул.

– Сергей Аркадьевич, пожалейте себя, – нарушил тишину Мамут.

Саблин достал платок и медленно вытер вспотевшее лицо.

– Как она хороша, – стояла, качая головой Румянцева. – Как она маниакально хороша!

– Шампанского, – вполголоса произнес Саблин, разглядывая узор на ковре.

Лев Ильич поднялся наверх по лестнице, тронул дверь спальни Саблиных. Дверь оказалась запертой.

– Саша, – глухо произнес он.

– Оставь меня, – слышалось за дверью.

– Саша.

– Уйди, ради Христа.

– Саша.

– Что тебе нужно от меня?

– Саша.

Она открыла дверь. Лев Ильич схватил ее за бедра, поднял и понес к кровати.

– Тебе нравится кривляться? Нравится потворствовать ему, нравится? – забормотала она. – Идти на поводу у этого... этого... Неужели тебе нравится все это? Вся эта... эта... низкая двусмысленность? Весь этот глупый, пошлый театр?

Бросив ее на абрикосовый шелк покрывала, Лев Ильич сдирал с нее узкое, кофейного тона платье.

– Он потекает своей мужицкой природе... он... он ведь мужик в третьем... нет... во втором поколении... он сморкается в землю до сих пор... но ты, ты! Ты умный, честный, сложно устроенный человек... ты... ты же прекрасно понимаешь всю двусмысленность моего... ах, не рви так!.. всю, всю нелепость... Боже... за что мне все это?!

Покончив с платьем, Лев Ильич задрал ее кружевную рубашку и, стоя на коленях, прыгающими руками стал расстегивать брюки.

– Если мы... если мы всё, всё уже знаем... если готовы на всё... знаем, что любим друг друга... и... что нет другого пути... что... наши звезды сияют друг другу, – бормотала она, глядя на лепной венец потолка, – если мы встретились... пусть ужасно и нелепо, пусть даже глупо... как и всё, что случается вдруг... то давай хотя бы дорожить этой тонкой нитью... этим слабым лучом... давай беречь всё это хрупкое и дорогое... давай постараемся... ааа!

Лев Ильич вошел в нее.

Павлушка неловко открыл шампанское. Пена хлынула из бутылки на поднос.

– Дай сюда, пентюх! – забрал бутылку Саблин. – А сам пшел вон!

Лакей согнулся, словно получив невидимый удар в живот, и вышел.

– Почему русские так не любят прислуживать? – спросил Мамут.

– Гордыня, – ответил отец Андрей.

– Хамство простое наше великорусское, – вздохнул Румянцев.

– Мы сами виноваты. – Румянцева нежно гладила скатерть. – Воспитывать прислугу надо уметь.

– То есть сечь? Это не выход. – Саблин хмуро разливал вино по бокалам. – Иногда приходится, конечно. Но я это не люблю.

– Я тоже против порки, – заговорил отец Андрей. – Розга не воспитывает, а озлобляет.

– Просто сечь надобно с толком, – заметила Румянцева.

– Конечно, конечно! – восторгалась Арина. – У покойной Танечки Бокшеевой я раз такое видала! Мы к ней после гимназии зашли, она мне обещала новую Чарскую дать почистить, а там – кавардак! Гувернантка вазу разбила. И ее Танечкин папа наказывал публично. Он говорит: “Вот и хорошо, барышни, что вы пришли. Будете исполнять роль публики”. Я не поняла сначала ничего: гувернантка ревет, кухарка на стол клеенку стелет, мама Танина с наштатырем. А потом он гувернантке говорит: “Ну-ка, негодница, заголись!” Та юбку подняла, на клеенку грудью легла, а кухарка ей на спину навалилась. Он с нее панталоны-то стянул, я гляжу, а у нее вся задница в шрамах! И как пошел по ней ремнем, как пошел! Она – вопить! А кухарка ей в рот корпию запихала! А он – раз! раз! раз! А Танечка меня локтем в бок пихает, говорит, ты посмотри, как у нее...

– Довольно, – прервал ее Мамут.

– Просто сечь – варварство. – Румянцева поднесла шипящий бокал к носу, прикрыла глаза. – У нас Лизхен уже четвертый год служит. Теперь уж просто член семьи. Так вот, в самый первый день мы ее с Виктором в спальню завели, дверь заперли. А сами разделись, возлегли на кровать и совершили акт любви. А она смотрела. А потом я ей голову зажала между ног, платье подняла, а Виктор ее посек стеком. Да так, что она обмочилась, бедняжка. Смазала я ей *poro* гусиным жиром, взяла за руку и говорю: – Вот, Лизхен, ты все видала? – Да, мадам. – Ты все поняла? – Да, мадам. – Ничего ты, говорю, не поняла. – Одели мы ее в мое бальное платье, отвели в столовую, посадили за стол и накормили обедом. Виктор резал, а я ей кусочки золотой ложечкой – в ротик, в ротик, в ротик. Спойли ей бутылочку мадеры. Сидит она, как кукла пьяная, хихикает: – Я все поняла, мадам. – Ой ли? – говорю. Запихнули мы ее в платяной шкаф. Просидела там три дня и три ночи. Первые две ночи была, на третью смолкла. Выпустила я ее тогда, заглянула в глаза. – Вот теперь, голубушка, ты все поняла. – С тех пор у меня все вазы целы.

– Разумно, – задумчиво потер широко переносицу Мамут.

– Господа, у меня есть тост, – встал, решительно зашуршав рясой, отец Андрей. – Я предлагаю выпить за моего друга Сергея Аркадьевича Саблина.

– Давно пора, – усмехнулась Румянцева.

Саблин хмуро глянул на батюшку.

– Россия наша – болотинское болото, – заговорил отец Андрей. – Живем мы все как на сваях, гадаем, куда ногу поставить, на что опереться. Не то чтоб народ наш дрянной до такой степени, а метафизика места сего такова уж есть. Место необжитое, диковатое. Сквозняки гуляют. Да и люди тоже – не подарок. Трухлявых да гнилых – пруд пруди. Иной руку тянет, о чести говорит, святой дружбой клянется, а руку его сожмешь – гнилушки сыпятся! Поэтому и ценю я прежде всего в людях крепость духа. С Сергеем Аркадьичем мы не просто друзья детства, однокашники, собутыльники университетские. Мы с ним братья по духу. По крепости духовной. У нас есть принципы незыблемые, твердыня наша, – у него своя, у меня своя. Если бы я в свое время принципами поступился, теперь бы панагию носил да в Казанском соборе служил. Если бы он пошел против своей твердыни – давно бы ректорской мантией шуршал. Но мы не отступили. А следовательно, мы не гнилушки. Мы твердые дубовые сваи русской государственности, на коих вырастет новая здоровая Россия. За тебя, мой единственный друг!

Саблин подошел к нему. Они расцеловались.

– Прекрасно сказано! – потянулся чокнуться Румянцев.

– Я не знал, что вы вместе учились, – чокнулся с ними Мамут.

– Как интересно! – глотнула шампанского Арина. – А вы оба философы?

– Мы оба материалисты духа! – ответил отец Андрей, и мужчины засмеялись.

– И давно? – спросила Румянцеву.

– С гимназейской поры, – ответил Саблин, сдвигая манжеты и решительно беря в руки берцовую кость.

– Так вы и в гимназии вместе учились? – спросила Арина. – Вот те на!

– А как же! – Отец Андрей сделал грозно-плаксивое лицо и заговорил фальцетом: – Саблин и Клёпин, опять на Камчатку завалились? Пересядьте немедленно на Сахалин!

– Ааа! Три Могильных Аршина! – захохотал Саблин. – Три Могильных Аршина!

– Кто это? – оживленно блестела глазами Арина.

– Математик наш, Козьма Трофимыч Ряжский, – ответил отец Андрей, разрезая мясо.

– Три Могильных Аршина! Три Могильных Аршина! – хохотал с костью в руке Саблин.

– А почему его так прозвали? – спросила Румянцеву.

– У него была любимая максима в пользу изучения математики: каждый болван должен уметь... а-ха-ха-ха! Нет... а-ха-ха-ха! – вдруг захохотал отец Андрей.

– Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! – зашелся Саблин. – Три... ха-ха!.. Три... ха-ха!.. Могильных... а-га-га-гаааа!

– Он... а-ха-ха!.. он... транспортиром однажды, помнишь, измерял угол... а-ха!.. угол идиотизма у Бондаренко... а тот... а-ха-ха! Ааааа!

Саблин захохотал и затрясся так, словно его посадили в гальваническую ванну. Кость выпала из его рук, он со всего маха откинулся на спинку стула, стул пошатнулся, опрокинулся, и Саблин повалился на спину. Отец Андрей хохотал, вцепившись пальцами в свое побагровевшее лицо.

В столовую вошла Саблина в новом длинном платье темно-синего шелка. Следом вошел Лев Ильич.

Саблин корчился на ковре от смеха.

– Что случилось? – спросила Александра Владимировна, останавливаясь возле него.

– Гимназия. Воспоминания, – жевал Мамут.

– Стишок? – Она прошла и села на свое место.

– Что за стишок? – спросил Румянцев.

– Стишок! Ха-ха-ха! Стишок, господа! – Саблин сел на ковре. – Ой, умираю... стишок я сочинил про моего друга-камчадала Андрея Клёпина... ха-ха-ха... ой... сейчас успокоюсь... прочту...

– Отчего этот хохот? – спросила Саблина.

– Не напоминай, Христа ради, а то... хи-хи-хи... мы поумираем... всё! всё! всё! Стихотворение!

– При мне, пожалуйста, не читай эту гадость. – Саблина взяла бокал, Лев Ильич наполнил его шампанским.

– Ну, радость моя, здесь же все свои.

– Не читай при мне.

– Начало, только начало:

У меня есть друг Андрей
По прозванию Клёпа.
Нет души его добрей, —
Пьет шартрез, как жопа.

- Прекрати! – Саблина стукнула по столу. – Здесь ребенок!
- Кого вы имеете в виду? – лукаво улыбнулась Арина.

Раз приходит он ко мне,
Говорит: – Послушай!
Искупался я в говне
И запачкал душу!

– Нет! Душа твоя чиста! —
Я вскричал, ликуя. —
Как у девочки...

- ...пизда и как кончик хуя, – произнесла Арина, исподлобья глядя на Саблина.
- А ты откуда знаешь? – уставился на нее Саблин.
- Мне отец Андрей рассказывал.
- Когда это? – Саблин перевел взгляд на батюшку.
- Все вам, Сергей Аркадьевич, надо знать, – сердито пробормотал Мамут, намазывая мясо хреном.

Все засмеялись. Арина продолжала:

- Мне в вашем стихотворении больше всего конец нравится:

Мораль сей басни такова:
Одна у Клёпы голова.
Другую оторвали
Две девочки в подвале.

- Какая гадость... – Саблина выпила. – Мерзкая гадость и тошная пошлость.
- Да! – С добродушной улыбкой на пьяноватом лице Саблин поднял стул, уселся на него. – Гимназейский юмор! Как давно все было... Помнишь, как Шопенгауэра читали?
- У Рыжего? – с наслаждением пил шампанское отец Андрей.
- Три месяца вслух одну книгу! Зато тогда я понял, что такое философия!
- И что же это такое? – спросила Румянцева.
- Любовь к премудрости, – пояснил Мамут.
- Неожиданно отец Андрей встал, подошел к Мамуту и замер, теребя пальцами крест.
- Дмитрий Андреевич, я... прошу у вас руки вашей дочери.
- Все притихли. Мамут замер с непрожеванным куском во рту. Арина побледнела.
- Мамут судорожно проглотил, кашлянул.
- А... как же... это...
- Я очень прошу. Очень.
- Мамут перевел взгляд оплывших глаз на дочь.
- Ну...
- Нет, – мотнула она головой.
- А... что...
- Я умоляю вас, Дмитрий Андреевич. – Отец Андрей легко встал на колени.
- Нет, нет, нет! – мотала головой Арина.
- Но... если вы... а почему же? – шурился Мамут.
- Умоляю! Умоляю вас!
- Ну... откровенно... я... не против...

– Не-е-е-ет!!! – завопила Арина, вскакивая и опрокидывая стул. Но Румянцевы, как две борзые, молниеносно вцепились в нее.

– Не-е-е-ет! – рванулась она к двери, треща рвущимся платьем. Лев Ильич и отец Андрей обхватили ее, завалили на ковер.

– Веди...веди себя... ну... – засуетился толстый Мамут.

– Аринушка... – встала Саблина.

– Павлушка! Павлушка! – закричал Саблин.

– Не-е-е-ет! – вопила Арина.

– Полотенцем, полотенцем! – шипел Румянцев.

Вбежал Павлушка.

– Лети пулей в точилку, там на правой полке самая крайняя... – забормотал ему Саблин, держа ступни Арины. – Нет, погоди, дурак, я сам...

Саблин выбежал, лакей – следом.

– Арина, ты только... успокойся... и возьми себя в руки... – тяжело опустился на ковер Мамут. – В твоём возрасте...

– Папенька, помилосердствуй! Папенька, помилосердствуй! Папенька, помилосердствуй! – быстро-быстро забормотала прижатая к коврику Арина.

– От этого никто еще не умирал, – держала ее голову Румянцева.

– Арина, прошу тебя, – гладил ее щеку отец Андрей.

– Папенька, помилосердствуй! Папенька, помилосердствуй!

Вбежал Саблин с ручной пилой. За ним едва успевал лакей Павлушка с обрезком толстой доски. Заметив краем глаза пилу, Арина забилась и завопила так, что пришлось всем держать ее.

– Закройте ей рот чем-нибудь! – приказал Саблин, становясь на колени и закатывая себе правый рукав фрака.

Мамут запихнул в рот дочери носовой платок и придерживал его двумя пухлыми пальцами. Правую руку Арины обнажили до плеча, перетянули на предплечье двумя ремнями и мокрым полотенцем, Лев Ильич прижал ее за кисть к доске, Саблин примерился по своему желтоватому от табака ногтю:

– Господи, благослови...

Быстрые рывки пилы, нутряной девичий вой, глуховатый звук обреченной кости, рубиновые брызги крови на ковре, вздрагивание Ариных ног, сдавленных четырьмя руками.

Саблин отпилил быстро. Жена подставила под обрубки глубокие тарелки.

– Павлушка, – протянул ему пилу Саблин, – ступай, скажи Митяю, пусть дрожки заложит и везет. Пулей!

Лакей выбежал.

– Поезжайте к фельдшеру нашему, он сделает перевязку.

– Далеко? – Мамут вытащил платок изо рта потерявшей сознание дочери.

– Полчаса езды. Сашенька! Икону!

Саблина вышла и вернулась с иконой Спасителя.

Отец Андрей перекрестился и опустился на колени. Мамут с астматическим поклоном протянул ему руку дочери. Тот принял, прижал к груди, приложился к иконе.

– Ступайте с Богом, – еще раз склонился Мамут.

Отец Андрей встал и вышел с рукой в руках.

– Поезжайте, поезжайте! – торопил Саблин.

Лев Ильич подхватил Арину, вынес. Мамут двинулся следом.

– На посошок, – придержал Саблин Мамута за фалду. – У нас быстро не закладывают.

Хлестко открыв бутылку шампанского, он наполнил бокалы.

– Мне даже на лоб брызнуло! – Румянцева с улыбкой показала крохотный кружевной платочек с пятном крови.

– У вас сильная дочь, Дмитрий Андреевич, – поднял бокал Румянцев. – Такие здоровые, такие... крепкие ноги...

– Жена-покойница тоже... это... была... – пробормотал Мамут, уставившись на забрызганный кровью ковер.

Саблин протянул ему бокал.

– За славный род Мамутов.

Чокнулись, выпили.

– Все-таки... вы сильно переоцениваете Ницше! – неожиданно зло произнес Мамут.

Саблин нервно зевнул, повел плечами:

– А вы недооцениваете.

– Ницше – идол колеблющихся.

– Чушь. Ницше – великий живитель человечества.

– Торговец сомнительными истинами...

– Дмитрий Андреевич! – нетерпеливо дернул головой Саблин. – Я уважаю и ценю вас как русского интеллигента, но вашим философским мнением я не дорожу, увольте!

– Ну и бог с вами... – Мамут тяжело, с раздражением двинулся к выходу.

– На Арину пригласите! – напонила Румянцева.

– Да уж... – буркнул он и скрылся за дверью.

Часы пробили полночь.

– Ай-яй-яй... – потянулся Румянец. – Мамочка, эва!

– Где мы спим? – Румянцева сзади обняла Саблина.

– Как обычно. – Он поцеловал ее руку.

– Еще десерт. – Саблина потерла виски. – От этих воплей голова раскалывается...

Румянцева прижалась сзади к Саблину:

– А нам десерт не нужен.

– Там... торт прелестный... – пробормотал Саблин, устало закуривая папиросу.

Упругий, обтянутый орехового тона шелком зад Румянцевой заколебался, по гибкому телу пошли волны.

– Ах... Сашенька... вы не представляете, как сладко спать с вашим мужем... как обворожительно...

Саблина подошла и вылила недопитое шампанское Румянцевой за ворот.

– Ай! – взвизгнула та, не отрываясь от спины Саблина и не прекращая волновых движений.

– Все-таки Мамут – медведь, – убежденно проговорил Саблин.

– А дочь мила, – зевнул Румянец.

– Да... – напряженно смотрел в одну точку Саблин. – Очень...

Саблина поставила пустой бокал на край стола и медленно вышла. Миновав полутемный коридор, она услышала голоса с парадного крыльца: Лев Ильич и Мамут укладывали Арину в бричку. Саблина остановилась, послушала, повернулась и пошла через кухню. Савелий спал за столом, положив голову на руки. Готовый торт с незажженными свечами стоял рядом. Она прошла мимо, открыла дверь и по черной лестнице сошла на двор.

Нетемная теплая ночь, тонкая прорезь месяца, звездная пыль, рыхлые массивы лип.

Саблина двинулась по аллее, но остановилась, с наслаждением вдохнула теплый влажный воздух.

Донесся звук отъезжающей брички.

Саблина сошла с аллеи, двинулась вдоль забора, приоткрыла калитку и проскользнула в Старый сад. Яблони и сливы окружили ее стройную, словно выточенную из благородной кости фигуру. Она двигалась, шурша платьем по траве, трогая рукой влажные ветки.

Остановилась. Выдохнула со стоном. Покачала головой, устало рассмеялась.

Наклонилась, подняла платье, спустила панталоны и присела на корточках.

Раздался прерывистый звук выпускаемых газов.

– Господи, какая я обжора... – простонала она.

Неслышное падение теплого кала, нарастающий слабый запах, сочный звук.

Саблина выпрямилась, подтягивая панталоны. Поправила платье. Отошла. Постояла, взявшись руками за ветку сливы. Вздохнула, поднялась на цыпочках. Повернулась и пошла к дому.

Ночь истекла.

Серо-розовое небо, пыльца росы на застывших листьях, беззвучная вспышка за лесом: желтая спица луча вонзилась в глаз сороки, дремлющей на позолоченном кресте храма.

Сорока шире открыла глаза: солнце засверкало в них. Встрепенувшись, сорока взмахнула крыльями, раскрыла клюв и застыла. Перья на ее шее встали дыбом. Щелкнув клювом, она покосилась на купол, переступила черными когтистыми лапами, оттолкнулась от граненой перекладины и спланировала вниз:

кладбище,
луг,
сад.

В сияющем глазу сороки текла холодная зелень. Вдруг мелькнуло теплое пятно: сорока спикировала, села на спинку садовой скамейки.

Кал лежал на траве. Сорока глянула на него, вспорхнула, села рядом с калом, подошла. В маслянистой, шоколадно-шагреновой куче блестела черная жемчужина. Сорока присела: кал смотрел на нее единственным глазом. Открыв клюв, она покосилась, наклоняя голову, прыгнула, выключила жемчужину и, зажав в кончике клюва, полетела прочь.

Взмыв над садом, сорока спланировала вдоль холма, перепорхнула ракиту и, торопливо мелькая черно-белыми крыльями, полетела вдоль берега озера.

В черной жемчужине плыл отраженный мир: черное небо, черные облака, черное озеро, черные лодки, черный бор, черный можжевельник, черная отмель, черные мостки, черные ракиты, черный холм, черная церковь, черная тропинка, черный луг, черная аллея, черная усадьба, черная женщина, открывающая черное окно в черной спальне.

Concreteные

Время: 3 октября. 19:04.

Место: Москва. Манежная площадь.

Concreteные:

Коля – 24 г. 180 см. 69 кг. **Члн** 29,5 см, мягкое золото, термохрящи. **Глз** “Красный мак”. **Влс** красно-белые с W-плетением, стрижка “UA”. **Одж** семислойный панцирь ТК-кожи цвета лунной пыли, грудная врезка из никелированного твида, стальные бинты, перчатки из J-пластика с керамическими ботфортами, обливные сапоги со стальным напылением.

Маша – 19 л. 167 см. 54 кг. **Влзлиц** 23 см, м-бисер, сенсор-пласт. **Грд** 92 см, термокерамика. **Глз** “Царевна-лягушка”. **Влс** черные, роговой лак, proto-желе. **Одж** обтяжное платье из стеклокашемира, меланжевый хомут с вулканизированной замшей, палантин из не-кролика, перчатки из белой лайки, туфли черной кожи с J-хрусталем, трость.

Mashenka – 15 л. 172 см. 66 кг. **Влзлиц** 19 см, сенсор-пакет. **Грд** 71 см, natural. **Глз** 0–0. **Влс** “Victim of violence”. **Одж** тигровые лохмотья на proto-шелке, бронзовый жилет, медвежьи унты.

Коля (*подходит к стоящим Маше и Mashenke*): Ни ха, когэру¹!

Маша: Привет.

Mashenka: Hi, malechik.

Коля: Ни цзяо шэньмэ?

Маша: Маша.

Mashenka: Mashenka.

Коля: Коля. Concreteные, хотите по-правильно поиметь?

Маша: Смотря что.

Коля: Двинем в ецзунхуй. Потом поимеем sweet-балэйу. Я плюс-плюс-имею.

Маша: Не в takt. Минус-позит.

Mashenka: Malechik пропозирует govnero?

Коля: “BLACK LARD” не govnero, yebi vashu!

Маша: Благородный ван имеет плюс-плохо?

Коля: Я имею по-правильную пропозицию, когэру. Зачем делать минус-хорошо?

Mashenka: Я делаю только похорошо. По-правильно плюс-хорошо. Я имею плюс-директ в архиве, обо-уёбо, мне не надо двиго-dance-60, я имею ориент-плюс-food-провайдинг, я имею делать похороший ваньшан в плюс-позит.

Коля: Я тоже имею делать похороший ваньшан.

Mashenka: Но зачем ты пропозируешь ецзунхуй, шагуа, когда имеем 19 uhr, когда еще не ваньшан, когда 3 часа до двиго-dance-60, когда не имеют food-провайдинг в плюс-активе?

Маша: Ван делает минус-хорошо.

Коля: Можно поиметь цантин.

Mashenka: Это другая пропозиция.

Маша: Это другая пропозиция.

Коля: Двинем поиметь, когэру?

Mashenka: Директно цантин?

¹ Прозвище молодой модницы (*яп.*).

Коля: Плюс-плюс-директно цантин!

Маша: По-просто цантин?

Mashenka: По-просто цантин – плюс-boring.

Маша: Плюс-boring. Плюс-govnero.

Коля: Yebi vashu!

Mashenka: Малечик делает минус-хорошо?

Коля: Двинем, concrctные! Не надо делать минус-позит, не надо иметь плюс-плохо! Не надо делать чукоу! Надо делать жукоу! Надо иметь плюс-директ на ваньшан! Чтобы было похорошо-на-ваньшан, а не похорошо-на-байтянь! Не надо иметь вамбадан в плюс-позите! Надо иметь по-правильное бу цо!

Маша: Я имею правильное бу цо.

Mashenka: Я имею правильное бу цо.

Маша: Но по-просто цантин – плюс-govnero.

Mashenka: По-просто цантин – плюс-плюс-govnero.

Коля: Вамбадан-по-трейсу! Вы имеете делать чукоу? Я неправильный шаонянь?

Маша: Мы не имеем делать чукоу. Мы имеем делать жукоу. Ты правильный шаонянь.

Mashenka: Но по-просто цантин – govnero!

Маша: По-просто цантин – govnero.

Коля: Вы имеете пропозицию?

Маша: Мы имеем пропозицию: trip-корчма.

Mashenka: Trip-корчма. Это плюс-плюс-похорошо.

Коля: По-русскому?

Маша: По-русскому.

Mashenka: По-русскому.

Коля: Я не имел по-русскому.

Маша: Это плюс-хорошо. Сделаем жукоу.

Mashenka: Сделаем жукоу, малечик Коля.

Коля: Я имею 250 плюс 40 вайхуй.

Маша: Я имею 170 плюс 80 вайхуй.

Mashenka: Я имею 50 плюс 25 вайхуй.

Коля: Enough на двиге, concrctные. Имеем бу цо.

Маша: Плюс-директ.

Mashenka: Плюс-директ, малечик.

Коля: Куда поиметь?

Маша: По-плюс-архиву: на Сретенке.

Mashenka: Я имею плюс-архив: угол Вернадского и Мао.

Маша: Но там гуй.

Mashenka: Там гуй. Но плюс-плюс-по-трейсу.

Коля: Мы имеем?

Mashenka: Мы имеем.

Коля: Двинули, когэру?

Mashenka: Двинули, малечик Коля.

Concrctные берут такси и оказываются на пересечении улиц Вернадского и Мао Цзедунa. На фасаде углового дома сияет лимонно-оранжевая вывеска “TRIP-КОРЧМА”. Коля расплачивается с машиной инъхан-картой, берет девушек под руки. Они входят в “TRIP-КОРЧМУ”.

Коля: Куда поиметь?

Маша: По-первое-плюс: хочу поиметь цзюба.

Mashenka: Я тоже хочу по-правильно поиметь цзюба.

Коля: Хэнь гаосин, по-правильные когэру!

Входят в бар, садятся за стойку.

Коля: Ни хэдянь шэньмэ?

Маша: Кэкоу кэлэ плюс XL.

Mashenka (*задумывается*): Пиццю.

Коля: Я поимею vodka.

На стойке возникают три стакана с напитками.

Коля: Музыкал?

Маша: Я пропозирую “ARIASSI-67”.

Mashenka: Я не хочу поиметь privat музыкал.

Коля: Ты хочешь поиметь norma?

Mashenka: Я хочу поиметь norma.

Коля: Я двину поиметь privat: “HOLOD-HOLOD”.

Пьют, слушают каждый свое.

Маша (*трогает грудь Коли*): Где ты поимел A-progrub? В “Гаити”?

Коля: Мимо dula, когэру.

Mashenka: В “SEIYU”?

Коля (*смеется*): Мимо dula!

Маша: В “ГУММО-2”?

Коля (*хохочет*): Мимо dula! Мимо dula!

Mashenka: В “Синий поросенок”?

Коля: В “AQUARIUS”!

Маша: Yebi твою!

Mashenka: Obo ёbo!

Коля: 17, когэру! Тип-тирип-по-трейсу!

Маша: 17 – чоуди вамбадан! Я produla, Mashenka!

Mashenka: Ты поимела минус-позит, крупная! По-просто! 17! А ты поимел в delo, Коля-ван?

Коля: Я поимел в delo, concreteные.

Маша: Он поимел в delo! Yebi твою! По-просто! Плюс-по-просто, вамбадан!

Коля: Плюс-по-просто!

Mashenka: Плюс-по-просто!

Concreteные долго хохочут, трогая друг друга за грудь.

Маша: Здесь похорошо.

Коля: Бу цо!

Маша: Плюс-позит.

Mashenka: Я вчера имела плюс-proval в топ-директе.

Коля: Реал?

Mashenka: Плюс-реал. Я поимела двинуть на “Tsunami”, я поимела плюс-похорошо в hochу, я поимела 25 %-free-пяо, я двинула с “Медведково” на “Olimpus”, я поимела до-до-pauza-

уебі-их, я поимела видеть много-много чоуди-police-шагуа, я поимела видеть много-много mobi-robi, я поимела минус-похорошо в хочу, я поимела много-много до-до-svalka-уебі-их, я поимела газрыв-по-юйи-обо-ёбо, я поимела много-много stopin-klopın, я поимела krik-по-трейсу, я поимела минус-минус-минус-похорошо в хочу, я поимела рогвать пяо!

Коля: Yeбі-вамбадан!

Маша: Mobi-robi надо поиметь на nosorog-плюс.

Mashenka: Я поимела 69-минус-похорошо.

Коля: Чоуди-police-хуайдань!

Mashenka: Чоуди-police-хуайдань.

Маша: Чоуди-police-хуайдань.

Коля: 7:12 я поимел минус-минус-позит по police абтайлунг.

Маша: Реал?

Коля: Мы с шаонянь пробировали в “COSMA-SHIVA”.

Mashenka: Что?

Коля: LĚD.

Mashenka: LĚD?! Obo ёbo! Это 700 за ти!

Коля: 760 за ти, когэру.

Маша: 760 за один ти? Вамбадан!

Коля: Мы поимели плюс-позит в провайде, пробировали 2 + 1, поимели бу цо-на-sladкий exit, поимели по-правильная когэру-На-sweet-балэйу, поимели 29-на-otloss-пропозицию.

Mashenka: И?

Коля: Police-vliparo.

Mashenka: Obo ёbo!

Маша: Куйсунь?

Коля: 2000 плюс 500 вайхуй.

Маша: Чоуди-police-хуайдань!

Mashenka: Чоуди-police-хуайдань!

Некоторое время сидят и пьют молча. Коля повторяет водки, Маша – кока-колы с XL.

Коля: Двинем поиметь по-правильно trip-уфань?

Маша: Хэнь гаосин.

Mashenka: Хэнь гаосин, maleчик.

Переходят в trip-зал, садятся в trip-кресла, пристегиваются.

Маша: Кто поимеет выбор?

Коля: Я не в топ-позите. Мне роһую.

Mashenka: Поимей ты, podruga.

Маша (*открывает панель*): Litera или cinema?

Коля: Роһую.

Mashenka: Cinema – плюс-boring.

Маша: A litera?

Mashenka: Еще не пробировала.

Маша: Пробируем litera?

Коля: Мне роһую.

Mashenka: Пробируем litera.

Маша нажимает шар “LITERA”. Возникает список из 699 названий романов разных писателей.

Маша: Куда поиметь?

Коля: Пробируй сама, мне роһую.

Маша: Я пробировала только سینема, я не пробировала litera. Я не в плюс-позите.

Mashenka (*читает*): “Процесс”, “Преступление и наказание”, “По ком звонит колокол”, “Пот и кровь”, “Партийный билет”, “Падалъ”... куда поиметь?

Коля: Пробируй поугад!

Маша (*читает*): “Саламбо”, “Сон в красном тереме”, “Сто двадцать дней Содомы”, “Саперы-2016”... обо-ёбо... куда поиметь? Я пропозирую “Саламбо”.

Mashenka: Имею пропозицию.

Маша: Как?

Mashenka: Делаем выбор через dice!

Маша: Реал?

Коля: Роһую. Двинем через dice.

Mashenka: Но сначала поимеем шэбэй.

Маша: Топ-директ! Поимеем по-правильный шэбэй!

Коля: Двинем шэбэй!

Маша вызывает панель “Экипировка”.

Маша: Главное – поиметь по-правильный chelust.

Mashenka: Топ-директ – правильный chelust!

Коля: Поимеем chelust, когэру!

Коля выбирает себе челюсти саблезубого тигра, Маша – акулы, Mashenka – жука-короеда.

Mashenka: Теперь – рука.

Коля: Бу цо! По-правильная рука!

Коля выбирает клешни дальневосточного краба, Маша – передние лапы пантеры, Mashenka – крота.

Коля: И нога!

Коля выбирает ноги кенгуру, Маша – саранчи, Mashenka – страуса.

Маша: И крыло!

Коля: Yebi vashu! По-правильное крыло!

Он выбирает крылья грифа, Маша – летучей мыши, Mashenka – стрекозы.

Коля: Бу цо! Двинем поиметь?

Mashenka: Только через dice!

Маша: Через dice!

Вызывают игральные кости. Маша бросает кости на список романов: кубик останавливается на романе “Моби Дик”. Возникает голографическая модель романа в виде бесформенного бело-розового куса с красными зонами кульминаций.

Маша: Куда поймать, *concrete*ные? Белое? Красное?

Mashenka: Топ-красное!

Коля: Роһуо! Двинем в топ-красное!

Маша выбирает на куске небольшую, но самую красную зону, нажимает. Concreteные оказываются в финале романа.

– Кит! Корабль! – в ужасе завопили гребцы.

– Вперед, мои люди! – завопил капитан Ахав.

В этот миг замер на грот-мачте молоток Тэштиго; и багряный флаг вдруг вырвался и заструился по воздуху прямо перед ним, точно его сердце, а Старбек и Стабб, стоявшие внизу на бушприте, заметили мчащегося на корабль зверя.

– Кит! Кит! Руль на борт!

Все матросы оторвались Mashenka от своих занятий и стояли, столпившись на носу, сжимая в руках бесполезные молотки, обрезки досок, остроги и гарпуны. Все взоры были устремлены на кита, который мчался им навстречу, зловеще потрясая своей погибельной головой и посылая перед собой широкий полукруг разлетающейся пены. Тупая белая стена его лба обрушилась на нос корабля, так что задрожали и люди, и мачты. Все услышали, как хлынула в пробоину вода, точно горный поток по глубокому ущелью.

– Корабль! Катафалк!.. Второй катафалк! – воскликнул Ахав, стоя в своем вельботе. – Катафалк, сбитый из американской древесины!

А кит нырнул под осевший корпус судна, проплыл вдоль содрогнувшегося кия; затем, развернувшись под водой, снова вылетел на поверхность, но уже с другой стороны, и, очутившись в нескольких Коля ярдах от лодки Ахава, на какое-то время замер на волнах.

– Пусть все гробы и катафалки потонут в одном омуте! – проревел Ахав, поднимая гарпун. – Вот так я метая свое оружие, о проклятый кит!

Просвистел гарпун, подбитый кит рванулся. Линь побежал в желобе с воспламеняющейся скоростью – и зацепился. Ахав нагнулся, чтобы освободить его; он его освободил; но скользящая петля успела обвиться вокруг его шеи; и беззвучно, как удавливают тетивой свою жертву турки в серале, его унесло Маша из вельбота, прежде чем команда успела хватиться своего капитана.

Все трое, стремительно работая челюстями, пожирают каждый свое, проделывая в телах извилистые кровавые ходы; поглощаемая плоть стремительно переваривается в их телах и фонтанирует калом из анусов.

Mashenka (*пожирая матросов на тонущем корабле*): Йап-йап-йап!

Коля (*выжирая дыры в туше кита*): Хмочь-хмочь-хмочь!

Маша (*разрывая на куски уносимого в океан Ахава*): App-app-app!

Финальная сцена быстро заполняется кусками разорванных тел, кровью и калом. Пожираемый Колей кит отчаянно выпрыгивает из глубин и бьется о поверхность воды.

Маша: По-плюс-топ-директ, вамбадан по-трейсу!

Коля: Yebi vashu! Плюс-позит, когэру!

Mashenka: Шнуп-ди-вуп! Бу цо!

Маша: Я хочу поиметь!

Коля: Во элэ, yebi vashu!

Mashenka: Я хочу! Я хочу в плюс-позите!

Коля: Снова через dice!

Маша: Через dice!

Mashenka: Через dice, podrugа, через dice, malechik!

Бросают кости; кубик останавливается на романе “Западня”.

Коля: Двинем топ-красное!

Маша: Двинем, вамбадан!

Оказываются в финале романа “Западня”.

– Выйти за тебя замуж? – закричала Реа. – За тебя? Я обещала тебе пятьдесят тысяч долларов! Но неужели ты поверил, что я выйду замуж за такого неотесанного мужлана, как ты? Немедленно отправляйся за деньгами и пленками!

Внезапно в руке О’Рейли появился револьвер калибра 0,25. Он направил его на Реа.

– У меня есть идея получше, крошка. А не хочешь ли ты пустить себе пулю в лоб? Полиция поверит в самоубийство. Они найдут пленки и решат, что после сделанного объявления у тебя сдали нервы и ты предпочла самый легкий выход. И я останусь чист! Как это тебе нравится?

– Убери револьвер, – сказала Реа, отступив назад.

– Барбер знает, что ее убил ты! Он заявит в полицию и без меня!

О’Рейли злобно усмехнулся.

– Ему не на что надеяться. У него нет доказательств. Моя идея лучше.

Реник оттолкнул меня в сторону, его рука скользнула под пиджак и вынырнула оттуда с револьвером калибра 0,38. Он шагнул в комнату.

– Брось оружие! – крикнул он.

О’Рейли обернулся, 0,25 изрыгнул огонь. Но его негромкий лай потонул в грохоте 0,38.

О’Рейли Маша выронил револьвер. Он смотрел на Реника Mashenka, ноги его подкосились, и он осел на пол под вопль Реа Коля.

Маша (*забираясь в пулевое отверстие в теле О’Рейли и выжирая его внутренности*):
Храч-храч-храч!

Коля (*выгрызая вагину Реа*): Урч-урч-урч!

Mashenka (*обгладывая лицо Реника*): Иапр-иапр-иапр!

Потоки крови и кала затопляют гостиную.

Коля: Топ-директ! По-плюс-сладкая пизделло у этой гунян! По-плюс-bloody-bloody, жор-жор по-трейсу в плюс-позите!

Маша: Уай-ті, concreteные! Я в плюс-похорошо в но́чу, я поимела плюс-позит в активе, я поимела sladкое цзинци, я поимела по-правильный вэйкоу!

Mashenka: Плюс-позит! У этого шаонянь плюс-директный face, вамбадан! Хаочи!
Маша: Хаочи! Поиметь snowa!
Коля: Поиметь snowa!
Mashenka: Snowa! Плюс-похорошо в тип-тирип!
Коля: Хаочи! Concretnые! Во элэ!

Маша бросает кости; они останавливаются на романе “Мифогенная любовь каст”. Возникает розовато-сине-фиолетово-белое тело романа.

Коля: Теперь не по-красному, uebi vashu!
Маша: По-синему, по-синему!
Mashenka: По-плюс-синему, obo-yebo, вамбадан на рыло!

Проникают в одно из синих мест тела романа.

Он взмахнул рукой и побежал куда глаза глядят, не разбирая дороги, – прибитый, обессиленный, раненый и поглупевший от боли и усталости, потерявший почти все свои магические навыки, которые он успел приобрести за время ученичества у Холеного. Сейчас он ни на что уже не был способен – ему больше нечего было делать в этом захваченном городе. Он искал один из трех возможных возвратов через Промежуточность, потому что лететь небом не было сил. В глубине его сознания пробижался механический и тихий голос, произносящий с трудом по слогам: “Во-ло-дя, по-ра до-мой. Во-ло-дя, по-ра до-мой”. Может быть, это был голос Поручика, но ведь он никогда не называл Дунаева по имени. Во всяком случае, это была не Машенька. В последние несколько минут, уже готовясь покинуть Смоленск, уже ощущая тягу разворачивающейся и стремительной Промежуточности, Дунаев наблюдал странную галлюцинацию: над городом, в темных небесах, показался колоссальный, слабо освещенный бок толстой женщины. Казалось, основная часть ее тела и лицо были срезаны резкой черной тенью, как бывает у молодой луны, и виден был (словно узкий полумесяц) только бок гигантской фигуры: толстое бедро Коля в юбке и кухонном фартуке, огромная слоноподобная нога Маша в вязаном чулке, жирное плечо Mashenka и край белого воротничка, обшитого кружавчиками.

– Кто это? – безмолвно спросил Дунаев у Машеньки, чувствуя, как его начинает плавно разворачивать и уносить в какое-то вторичное, необозначенное пространство.

– Это Боковая. Малыша ищет, – так же бесшумно ответила спящая Девочка. И Дунаев затылком вниз провалился в Промежуточность.

Concretnые вгрызаются в тело Боковой. Маша забирается в икру и движется вверх по ноге, Коля вгрызается в бедро, проедает тазобедренный сустав и забирается в перистальт. Mashenka копошится в плече. Боковая просыпается и начинает почесывать места проникновения concretnых; потом дергается, вздрагивая в небе всем своим громадным телом. Concretnые яростно жрут ее плоть. Боковая испускает долгий крик, ударная волна от которого окончательно разрушает Смоленск. Concretnые встречаются в сердце Боковой. Агонизируя, она летит по инерции, раздвигая облака, и падает на Подольск.

Коля: Йа-сэ! Топ-директ, когэру! По-правильный хао!
Маша: Я в плюс-позите, concretnые! Плюс-плюс-плюс-бу цо!
Mashenka: Двинем еще, вамбадан!

Бросают кости, оказываются в романе “Война и мир”.

– Ах, какая прелесть! Ну, теперь спать, и конец.

– Ты спи, а я не могу, – отвечал первый голос, приблизившийся к окну. Она, видимо, совсем высунулась в окно, потому что слышно было шуршанье ее платья и даже дыхание. Все затихло и окаменело, как и луна и ее свет и тени. Князь Андрей тоже боялся пошевелиться, чтобы не выдать своего невольного присутствия.

– Соня! Соня! – послышался опять первый голос. – Ну как можно спать? Да ты посмотри, что за прелесть! Ах, какая прелесть! Да проснись же, Соня, – сказала она почти со слезами в голосе. – Ведь эдакой прелестной ночи никогда, никогда не бывало.

Соня неохотно что-то отвечала.

– Нет, ты посмотри, что за луна!.. Ах, какая прелесть! Ты поди сюда. Душенька, голубушка, поди сюда. Ну, видишь? Так бы вот села на корточки, вот так, подхватила бы себя под коленки – ту же, как можно ту же, натужиться надо, – и полетела бы.

Коля, Маша, Mashenka. Вот так!

Concretnые подхватывают Наташу Ростову, поднимают ее в воздух и несут над спящей Россией. Наташа визжит. Concretnые поднимаются все выше и выше, пока Наташа не начинает задыхаться от нехватки кислорода. Mashenka забирается ей в рот, Коля – в вагину, Маша – в анус. Наташа летит к земле. Concretnые стремительно выжирают ее внутренности с костями и успевают вылететь из полностью выеденного тела перед самым падением. Кожа Наташи Ростовой долго планирует над родовым поместьем и повисает на ветвях цветущей яблони.

Маша: По-последнему, yebi vashu!

Mashenka: По-последнему, вамбадан по-трейсу!

Коля: По-последнему, concretnые!

Бросают кости, оказываются в романе “Путем Чеага”.

Огненная сфера сомкнулась над Моломой и остатками изувеченных взрывом горавиев Маша, Коля, Mashenka. Крамо нащупал сегмент Запретного Входа под слоем голубоватого пепла и нажал. Послышался слабый стон, словно вся Эретию смертельно выдохнула перед надвигающимся концом. Изрытая фиолетовыми порами почва вздрогнула и мелко затряслась. Нарастающий гул прокатился по долине Бессмертных.

– Ты исполнил Предначертание Астонов! – прохрипел обгоревший Надсмотрщик. – Теперь Розовые Сателлиты разорвут Эретию на куски, и она станет вторым Поясом Апракса! О Великое Солнце Горавиев, почему Ты не спалило меня дотла!

– Ваше солнце рушится в Бездну вместе с вашей злобой, – гордо выпрямился Крамо, не замечая землетрясения. – Ненависть к живым существам порождает Белый Гнев. Он разъял на атомы ваши подлые сущности, дабы выстроить Новую Эретию. Тебе и твоим аффарам уготовано стать песчинками для кирпичей Нового Дома Бадалийцев. Смотри же, как гибнет Моломома!

Надсмотрщик закрыл роговые веки.

Сонcretные прыгают по изувеченным трупам горавиев, выжирая светящиеся желто-зеленые глаза и твердые сиренево-розовые мозги наследников Хиндала.

Коля: По-плюс-жидкое, чоуди вамбадан!
Маша: Зарахундрия на 69! Плюс-провайдинг, шаонянь!
Mashenka: По-просто! По-просто!
Коля: Хаочи! Во баолэ!
Маша: Во баолэ!
Mashenka: Во баолэ!

Сбрасывают экипировку, отстегиваются от кресел.

Коля: Теперь – sweet-балэйу, по-правильные когэру!
Маша: Плюс-директ!
Mashenka: Плюс-директ!

Коля достает из панциря синий член с переливающимися под кожей вставками из жидкого золота, Маша открывает мэньсо, Коля запихивает член ей во влагалище, совершает 69 фрикций, Маша кончает; Mashenka открывает свой мэньсо, Коля запихивает член ей во влагалище, совершает 69 фрикций, Mashenka кончает. Маша и Mashenka берут член Коли в ST-пласт, Коля кончает.

Коля: Бу цо, когэру!
Маша: У тебя по-правильный тивэньци, maleчик.
Mashenka: Sladкий!
Маша: Где ты поимел liquid-gold-vstavka?
Коля: В “ASIA”.
Маша: Гуй?
Коля: 3000 плюс 1000 вайхуй.
Маша: Гуй!
Mashenka: Гуй! Я поимела сенсор-пакет за 1500 вайхуй. В “DINAMO-DINAMO”.
Коля: Liquid-gold не сенсор-пакет, уеbi твою!
Маша: Devочка понесла хушо бадао!
Коля: Хушо бадао, уеbi твою!
Mashenka: Fuck up, вамбадан! Имею 9 на плюс-пропоз!
Коля: Ты поимела плюс-похорошо в минус-hochu!
Mashenka: Я по-плюс-имею плюс-похорошо, шагуа!
Маша (*трогает член Коли*). Коля-ван, у тебя sladкий.
Mashenka (*тоже трогает*): Sladкий тивэньци.
Коля: У вас плюс-директ в мэньсо.
Маша: Ты поимел шен-шен?
Коля: Я поимел шен-шен.
Mashenka: Шен-шен в плюс-hochu?
Коля: Шен-шен в hochu.
Маша: Trip-корчма – не govnero.
Коля: Litera-trip – не govnero, concreteные когэру.
Маша: Не govnero, по-правильный maleчик.
Коля: Имею пропозицию: двинем в ецзунхуй?
Маша: Двинем в ецзунхуй!

Mashenka: Двинем в ецзунхуй!
Коля: Топ-директ, concreteные!

Краткий китайско-русский словарь

Байтянь – день
Балэйу – балет
Бу цо – неплохо
Вайхуй – валюта
Ван – князь
Вамбадан – черепашьи яйца (ругательство)
Ваньшан – вечер
Во баолэ – Я сыт
Во элэ – Я голоден
Вэйкоу – аппетит
Гуй – дорого
Гунян – девушка
Ецзунхуй – ночной клуб
Жукоу – вход
Иньхан – банк
Куйсунь – убыток
Кэкоу кэлэ – кока-кола
Мэньсо – замок
Ни ха – Здравствуй!
Ни хэдянь шэньмэ? – Что будете пить?
Ни цзяо шэньмэ? – Как вас зовут?
Пицзю – пиво
Пяо – билет
Ти — доза
Тивэньцзи – градусник
Уфань – обед
Хаочи – вкусно
Хуайдань – мерзавец
Хушо бадао – чушь
Хэнь гаосин – с удовольствием
Цаньтин – ресторан
Цзинцзи – игра
Цзюба – бар
Чоуди – вонючий
Чукоу – выход
Шагуа – дурак
Шаонянь – парень
Шен-шен – жизненная сила
Шэбэй – оборудование
Юйи – плащ

Аварон

Андрею Монастырскому

9 сентября 1937 года немке Эсфирь Семеновне опять сорвали урок: только она принялась диктовать диктант “Mein Lieblingsbuch”, как весь 5-й “Б” загудел. Она выбежала в слезах.

– Робя, фашизм не пройдет! – закричал Петух и поднял сжатый кулак.

В классе все знали, что у Петуха отец воюет в Испании.

– Пошли в “Ударник” на “Арсена”! – предложил Вовка Фрумкин.

– Уже дважды смотрели, – зевнул Серега Голова. – Айда по домам.

– Робя, она за директором поползла, – сел на парту Сальников. – Лучше остаться.

– Вот и сиди здесь, Сало. – Петух вытянул из парты портфель. – Петьк, пошли с девятым домом в расшибец порежемся. Они там за котельной с утра до ночи духарятся.

– Я – домой. – Петя положил учебник и тетради в свой портфель желтой кожи, застегнул.

– Петь, оставайся. – Сальников качался на парте. – Будем с фашистской гадиной воевать.

– Guten Tag. – Петя вышел в пустой школьный коридор.

В нем было прохладно и сильно пахло краской. Возле двух белых бюстов Ленина и Сталина стояли корзины с цветами.

– Петьк, погоди! – Андрюша Скуфин догнал Петю. – Чего так рано домой? Пошли выжигать!

– Неохота. – Петя спускался по лестнице, стучая себя портфелем по коленям.

– Чего ты вареный такой? – Скуфин остался стоять наверху. – От отца есть чего?

– Не твое дело. – Петя потянул дверь, вышел на улицу.

В Лаврушинском переулке было чисто и жарко. Солнце серебрило неряшливые тополя, уже тронутые желтизной, сверкало в створе открытого окна писательского дома. Полная женщина мыла другую половину окна.

Петя вышел на набережную.

Здесь тоже было жарко, чисто и пусто.

“Сказал на свою голову, – вспомнил Петя Скуфина. – Теперь каждый раз пристает, дурак. Хорошо, что про мать не знает”.

Он добрел до Малого Каменного моста, посмотрел на работу молодого регулировщика в белом кителе и белом шлеме, перешел через мост.

На “Ударнике” по-прежнему висели две афиши – маленькая “Арсен” и большая “Ленин в Октябре”. Петя уже трижды посмотрел “Арсена” и дважды “Ленина в Октябре”.

Недавно покрашенная крыша “Ударника” сверкала серебром.

Петя направился к большому серому дому, возвышающемуся над куполом “Ударника”, но вдруг остановился.

“Сейчас начнется! – хмуро подумал он. – «Опять из школы сбежал?! Прогуливаешь? В физиономию захотел?!»

Бабушка шла на него, сворачивая жгут из розового полотенца.

– Ты думаешь, без родителей я тебе шалберничать позволю?!

Петя сплюнул, посмотрел на свои окна. В столовой занавешено, как всегда. В детской открыто. Наверно, Тинга вырезает своих кукол.

Он сделал еще несколько шагов и остановился.

Рядом стоял подвижной лоток с газировкой. С трех мокрых стаканов на алюминиевом подносе стекала вода. Солнце тяжело светило в перевернутом стеклянном конусе с вишневым сиропом. Худая продавщица с желтыми кудряшками из-под белой пилотки и с папирсой в стальных зубах сонно глянула на Петю.

Он сунул руку в карман и тут же вспомнил, что денег нет.

“Каждую копейку теперь надо беречь!” – Бабушка очень часто стала пересчитывать оставшиеся деньги и прятала их в новом месте – не в китайской шкатулке отца, а в своей коробке с орденом.

– Ну что, истребитель? – хрипло спросила продавщица. – Полный потянешь аль половинку?

Петя повернулся и побрел через проезжую часть – на ту сторону.

Фонтан по-прежнему уже вторую неделю не работал, на скамейках сидели редкие люди. По клумбе ходили голуби.

Петя добрел до ближайшей скамейки и плюхнулся на нагретое солнцем крашеное дерево. Положил желтый портфель на колени. Замок портфеля глупо улыбался.

– Дурак... – Петя плюнул в латунную морду замка.

На лавочке возле клумбы засмеялась девушка. Парень в футболке что-то быстро, но негромко рассказывал ей. Она смеялась, облизывая эскимо, зажатое двумя круглыми вафлями.

– Дура... – Петя зло посмотрел на девушку.

Нагретая полуденным солнцем Москва была полна дураков.

Петя дернул себя за кончик пионерского галстука, посмотрел на портфель. Замок по-прежнему улыбался сквозь слюну.

– Скройся, гад! – Петя плюнул так сильно, что слюна попала на галстук.

– Бесполезно. Слюны не хватит, – раздался спокойный голос рядом.

Петя повернул голову.

На другом конце скамейки сидел мужчина в светло-сером костюме с такого же цвета шляпой на голове.

– Его только плавильная печь исправит. – Мужчина подмигнул Петину портфелю, снял шляпу и стал быстро обмахиваться ею. – Сентябрь, а духота как в июле. Хоть бы картошкин дождичек ливанул...

Он был неопределенного возраста, лысоватый, с узким сухощавым лицом.

“Кондуктор какой-то”, – подумал Петя.

– Ну что, Петь, допекла тебя бабишка – потная пипишка? – спросил незнакомец. – Ладно бы за дело грызла, старая. А то ведь со страху бесится – как бы завтра за ней не пришли. А была-то раньше неробкого десятка – замначальника политотдела армии. Не баран чихал. В девятнадцатом под Херсоном, когда белые прорвались и Буракявичюса ранило, она шестерых из маузера застрелила. Потом, когда Городовиков с бригадой подошел, она Парфенова перед строем лично расстреляла. А теперь без валерьянки не засыпает. Кому она нужна?

Петя недоверчиво смотрел на незнакомца. Больше всего его удивляло, что тот знает тайное прозвище бабушки “бабишка – потная пипишка”, которое Петя придумал не так давно, бормотал только про себя и не говорил даже сестренке Тинге.

– Вы из НКВД? – спросил Петя.

– Не совсем. – Незнакомец достал пачку “Казбека”, быстро закурил.

Его руки, глаза, губы – все было быстрое, подвижное; но в быстроте этой не было никакого беспокойства, наоборот, был какой-то тяжкий покой, нарастающий с каждым движением.

– А откуда вы знаете про... – начал было Петя, но незнакомец перебил его, со свистом выпустив дым из узких губ.

– Я все знаю, Петя. Знаю, что ты живешь вон в том Доме Правительства, в квартире сто пятьдесят. Что ты хочешь стать эпроновцем, моряком-подводником. Что ты смертельно поругался с Ундиком, а Володя сломал затылком палец. Знаю, что ты любишь теребить соски, чтобы уснуть быстрее. Знаю, что тебе уже двенадцатый раз снится папа с деревянными руками. Знаю, что ты зашил в подушку Тайную Пионерскую Клятву, сокращенно ТПК. И в этой ТПК

семь пунктов. Первый – никогда не плакать. Второй – встретиться лично с товарищем Сталиным. Третий – собирать материалы на врагов папы. Четвертый...

– Вы... гипнотизер? – прошептал покрасневший Петя.

– Не совсем. – Незнакомец смотрел на клумбу серо-голубыми, ни на секунду не останавливающимися глазами.

– Вы знаете, где мои родители?

– Знаю.

– Они в Бутырках?

– Нет.

– В Лефортове?

– Твоя мама в Лефортове.

– А папа? Его же раньше арестовали, тридцатого июня.

– Папа не в Лефортове.

– А где?

– В Бутове.

– Это что, тюрьма?

– Это место под Москвой.

Петя облилизал пересохшие губы. Девушка доела мороженое и кинула остатки вафли голубям. Парень стал гадать ей по руке.

– А почему тогда у бабушки в Лефортове деньги не приняли? – спросил Петя.

– Неразбериха. Тюрьма переполнена. Твоя мама в камере номер семьдесят четыре. На втором этаже.

– Правда?

– Я всегда говорю правду.

Петя растирал пальцами слюну на замке портфеля.

– Скажите... а я... а за что их арестовали? Они враги?

– Нет. Они не враги.

– А за что тогда?

Незнакомец кинул папиросу в громоздкую черную урну.

– Вот что, Петя. Петр Лурье. Я могу тебе помочь. Могу сделать так, что твою маму выпустят.

– А папу? – выдохнул Петя.

– С папой сложно. Но маму – могу. Но с одним условием. Если ты мне сегодня поможешь в одном важном деле.

– Вы шпион?

– Нет. Я не шпион, – хрустнул тонкими сильными пальцами незнакомец. – Скажи мне, только быстро: да или нет? И не тяни время. Его и так в обрез.

– А вы... вас как зовут?

– Аварон.

– Вы... армянин?

– Не совсем. Ну так да или нет? Быстро, Петя.

Незнакомец встал. Он был среднего роста, худощавый и неуловимо-сутулый.

– Да, – сказал Петя и тоже встал.

– Тогда поехали. – Незнакомец поднял стоящий у скамейки пухлый портфель и пошел к трамвайной остановке.

Петя со своим портфелем поспешил за ним.

Они молча доехали до Казанского вокзала.

Отстояв небольшую очередь, Аварон сунул мятую пятерку в окошко кассы:

– “Удельная”, два билета.

– А это далеко? – спросил Петя.

– Не задавай вопросов. – Получив билеты, Аварон зашагал к седьмому пути.

Они вошли в последний вагон электрички, сели на свободную скамью.

Ехали молча в переполненном вагоне. Люди стояли в проходах.

– Пионер, уступи место, – посмотрела на Петю полная дама в панаме.

– У него арестовали отца и мать, – громко сказал Аварон, не глядя на даму.

Дама замолчала.

В “Удельной” вышли. Аварон глянул на часы.

– Еще полчаса. Пошли.

Миновали поселок с рынком и одноэтажными домами, прошли сквозь сосновый перелесок и оказались возле неприметной церквушки. Рядом с ней возвышался небольшой пригорок, поодаль терялось в зелени заросшее кладбище. Возле церкви толпились народ, в основном пожилые женщины.

Аварон взошел на пригорок и сел на траву:

– Садись.

Петя опустил рядом.

– Сейчас начнут, – прищурился Аварон на церковь. – Значит, слушай меня внимательно, Петр Лурье. Когда начнется акафист, ты войдешь в церковь. И встанешь напротив иконы Параскевы Пятницы. И будешь стоять и смотреть. Запомни, мне нужно только то, что упадет на пол. Понял?

Петя ничего не понял, но кивнул.

Вскоре пару раз робко протренькал церковный колокол, двери храма отворились, и толпа полезла внутрь.

Аварон раскрыл свой портфель и вынул толстый моток бечевки на стальном пруте. Он сделал из бечевки петлю, надел Пете на шею. Бечевка была смазана чем-то жирным.

– Это солидол? – спросил Петя, чувствуя возбуждение, нарастающее с каждой минутой.

– Нет. Это натуральный жир, – пробормотал Аварон. – Иди. И ничего не бойся.

Петя встал. Бечевка натянулась.

Петя осторожно пошел к церкви.

Аварон, сидя на холме, держал прут с мотком бечевки в руках, неотрывно следя за Петей. Бечевка медленно разматывалась.

Спустившись с холма, Петя подошел к двери церкви. У входа толпились не попавшие внутрь. Он приблизился к их спинам.

“Как же я пройду?” – успел подумать он и прикоснулся своим телом к толпе.

Едва это произошло, по телам толпящихся старух, женщин и стариков пробежало что-то вроде вялой судороги, и Пете показалось, что все они *всхлипнули спинами*.

Толпа зашевелилась, расступилась, впуская в себя неуютно-невидимый клин.

Петя понял, что клин – это он сам. Ноги его вспотели и прогнулись, как резиновые, он словно заскользил на коньках по горячему и очень приятному льду; сердце его билось тяжело, но очень-очень редко, и между каждым ударом роем накатывали мелкие, щекочущие слова и мысли, разлетающиеся приятными радугами и ниспадающие очередным ударом сердца.

Сделав несколько резиновых скольжений, Петя оказался в центре храма; петля на шее сильно натянулась, бечевка запела басовой струной. Петя понял, что моток размотан и там, на пригорке, Аварон держит обеими руками голый стальной прут с привязанной бечевкой.

Дышать стало тяжело, но страха не было, наоборот, – непередаваемый *восторг силы* охватил Петю, он улыбнулся и осмотрелся по сторонам. Вокруг, стоя на коленях, молились верующие. Батюшка быстро читал что-то по книге, стоя неподалеку от небольшой темной иконы. Именно этой иконе молились все собравшиеся.

Петля совсем сильно сдавила Петино горло, он открыл рот и вдруг издал громкий *ключевой* звук.

Вокруг потемнело; стены церкви выгнулись сферой, молящиеся стали бесформенными темными кучами; в этих кучах что-то двигалось, собиралось, напрягалось, перестраивалось, набухало – и из куч *сладо выдавливались* светящиеся молитвы. Извиваясь, они медленно текли к иконе.

Икона тоже изменилась. Ее квадрат стал совсем белым, изображение пропало, растворяясь в ровном белом свете иконы. Свет этот не был похож на обыкновенный – он тек наоборот, к источнику, поглощая исходящие из куч молитвы.

Молитвы были разные: одни напоминали извивающихся змей, другие выдавливались из куч светящимися шарами, третьи вились бесконечной спиралью, некоторые имели форму сцепленных колбас, некоторые были прямы и тонки, как копья. Все они светились зелено-голубым, и все их поглощал квадрат иконы, как пылесос.

Поглощение это заставляло Петю *прощально вздрагивать*, но не телом, а чем-то тяжелым и родным.

Вдруг по кучам прошло движение, они перестали выдавливать молитвы, расступились, и в сферу храма, опираясь на четыре кучи, проник большой темно-вишневый шар.

– Безногого Фроловича принесли! – почувствовал Петя *слоистые покалывания* слов.

– Заступник наш...

– Страстотерпец... отощал-то как, Господи...

– Слышь, его опять Моисеевы приволокли...

– А Наташка больше горбатиться не хочет, во как...

– Помолись за нас, окаянных, Фролович...

– Отступите, православные, дайте ему место...

Шар остановился в центре храма. Кучи замерли в ожидании. По шару пошли складки, он сжался, вгибаясь. Из его центра выползла толстенная, прямая, как бревно, молитва и поплыла к иконе.

В диаметре молитва Фроловича была больше иконы и гораздо толще всех предыдущих молитв. Белый квадрат всосал ее в себя, но не поместившиеся в поле иконы сегменты срезались о края квадрата и бесшумно пообдали на пол.

Это напомнило Пете процесс изготовления бруса на Кунцевском деревообрабатывающем комбинате: круглое бревно, проходя сквозь прямоугольно выстроенные циркулярные пилы, превращается в брус, а четыре края отваливаются. Эти края в плотницком деле назывались горбылем и шли обычно на заборы.

Отвалившиеся от молитвы Фроловича куски лежали на полукруглом полу и медленно сгибались, словно огромные стружки. Цвет их из сине-зеленого стал грязно-голубым, потом оливковым с розовыми вкраплениями.

Петя двинулся к остаткам молитвы.

Он совсем не чувствовал бечевку на шее, только за плечи и ключицы его держала *восторженная сила*.

Он поднял все четыре куска и прижал к груди. Они были никакие и не вызвали у Пети никаких чувств.

И сразу восторженная сила потянула его назад. Петя с удовольствием повиновался, поехал на своих резиновых коньках, но, к удивлению, выйти из церкви ему оказалось гораздо труднее, чем войти в нее. Вокруг все изгибалось и дробилось радугами *теребящих слов*, слипающихся в вязкое слоистое месиво. Петя словно всплывал спиной к выходу сквозь многослойный мед. Вдруг что-то *неродное* чувствительно лопнуло, и Петя оказался на улице возле пахнущей купоросом двери храма.

– Сюда иди! – раздался голос с холма.

Петя с трудом разжал стиснутые зубы, открыл рот и жадно втянул в себя вечерний воздух. Руки его были согнуты и прижимали к груди пустоту. Петя посмотрел на них как на чужие.

– Держи! Если бросишь – все пропало! – крикнул Аварон.

Петя ничего не чувствовал в руках.

Он повернулся к пригорку и ощутил боль в груди, шее и плечах.

Солнце зашло.

Аварон стоял на пригорке.

– Сюда иди! – снова позвал он Петю.

Петя двинулся к нему. Несмотря на боль, он чувствовал в себе силу, бодрость и нарастающий с каждым шагом *разрешающий покой*.

– Не торопись, – посоветовал Аварон, когда Петя взошел на пригорок.

Быстрые руки сняли с Петиной шеи обрывок бечевки.

– Хорошо. Теперь в Москву поедem. Ты прижимай, но несильно.

– А я... там... это... там в этом... – с трудом заворочал одеревеневшим языком Петя, но Аварон перебил его:

– Держи, держи! Пошли.

Они спустились с пригорка. Оба портфеля остались лежать там.

Аварон шел слева позади, правой рукой поддерживая мокрую от пота спину Пети. Петя напряженно смотрел под ноги, словно искал место, куда бы уложить свою ношу. Он тяжело дышал.

– Говорю – не спеши, – придерживал его Аварон.

Они осторожно двинулись через вечерний поселок. В приземистых домах желтели окна, детвора носилась в полумраке, слышались женские голоса и угрюмое мужское пение под гармонь.

– А что там... это... когда было... – тяжело выдавливая слова, заговорил Петя.

– Все хорошо. – Аварон направлял его рукой, как пьяного.

– А веревка? Лопнула?

– Лопнула, – кивнул Аварон.

Трое ребятишек сидели на заборе и грызли семечки.

– Дядь, а вы кинщик новый? – спросил один.

– Нет, я не кинщик, – ответил Аварон.

На станции валила толпа с подошедшей электрички. Старухи торговали цветами и семечками. Низкорослая продавщица запирала магазин на большой амбарный замок. Рядом кривоногий худой шофер задвигал в хлебный фургон деревянные противни.

Аварон подвел Петю к магазину.

– Закрывает уже, – покосилась на них продавщица и сунула ключ в карман жакета.

– Отвезите нас в Москву, – обратился Аварон к шоферу.

– А чего такое? – Шофер задвинул последний противень. – Еще лектрички ходят.

– Нам очень нужно.

– Да мне на базу. – Шофер закрыл жестяные двери фургона.

– Болен, что ли, малой? – полусонно спросила продавщица.

Аварон молчал.

– Так вам, может, скорая нужна? – Шофер заломил кожаную фуражку. – До Малаховки могу подвезти.

– Нам очень нужно в Москву.

– Не, до Малаховки.

– Ладно, пошла я. – Продавщица косолапо побрела прочь.

– Садитесь. – Шофер кивнул на фургон. – Гражданин, у вас покурить не будет?

– Я не курю, – ответил Аварон и стал помогать Пете забраться в кабину.

Когда уселись, шофер завел мотор, вырулил к переезду, встал у опущенного шлагбаума.

Петя сидел между шофером и Авароном, держа руки у груди и напряженно глядя вперед. Аварон вжался правым боком в дверь, стараясь не коснуться того, что Петя прижимал к груди. Высокий лоб его покрылся испариной, по вискам из-под шляпы тек пот.

Шофер недовольно покосился в открытое окно, сплюнул:

– Слышь, как я с куревом-то обмишурился? Але-ха-воха...

Загудел приближающийся паровоз, поползли бесконечные вагоны с углем.

– Это что, вроде падучей? – кивнул шофер на Петю.

– Нам надо скорей в Москву, – ответил Аварон. – Я заплачу.

– Да это понятно... – Шофер устало вытер лицо загорелой рукой.

Состав прошел, горбатый старик поднял шлагбаум.

Фургон поехал дальше.

Шофер включил фары и замычал какую-то мелодию.

Петя смотрел вперед. Но не неровную, освещенную фарами дорогу видел он. После прохождения через поселок Удельная в Петинем теле еще больше прибавилось *деловитого покоя*. Руки его налились *беззвучным гудением*, из центра груди по телу расходились *послушные волны силы*, и тело ответно пело в такт их движению. В голове у Пети было ясно. Он *все* понял. Пот струился по его спине, а в остеклевенных глазах повторялась одна и та же сцена: мать на кухне в ночной рубашке зачерпывает снег из таза, лепит снежки и раскладывает на политом маслом противне.

– К ужину нагрянут, а у меня еще конь не валялся, – улыбается она.

В Малаховке шофер притормозил, почесал лоб.

– На три чекушки дадите?

– Дам, – ответил Аварон.

– Была не была! – затрещал передачей шофер. – Скажу: ремень лопнул... Куда вам в Москве-то?

– Никольская. – Аварон отер пот с висков носовым платком.

– Никольская? – важно нахмурился шофер. – Где это?

– Красную площадь знаете?

– А то как же?

– Прямо на нее выходит. Я покажу.

– Ужо так.

Когда выехали на шоссе, он бодро поскреб подбородок нечистым прокуренным ногтем.

– Читали третьего дня в “Правде”? Про вредителей?

Аварон не ответил.

Шофер по-бабьи покачал головой:

– Что делали, суки рваные!

До Москвы ехали молча.

– Так вам на Никольской-то чего надо? – спросил шофер, выезжая на Котельническую набережную.

– Дом.

– А чего там? Больница?

– Нет.

– А как же... а парень?

Аварон достал бумажник, вынул тридцать рублей, дал шоферу.

– Ага... – Тот сунул деньги под фуражку.

Доехали до Лубянки, свернули на темную Никольскую и, не доезжая слабо освещенной Красной площади, остановились.

– Ежли что перевезти там или чего, то я завсегда, – забормотал шофер. – Через Машу меня найдете. Вы ж с Удельной?

Не отвечая, Аварон вылез, помог Пете. Петя вылезал из кабины медленно.

– Бывай здоров, пионер, – махнул шофер, развернулся, и хлебный фургон затарахтел, рассекая темень фарами.

Аварон повел Петю.

Они обогнули серый массивный дом, пошли по Ветошному переулку. Вскоре Аварон сжал Петино плечо:

– Стой.

Петя остановился.

Аварон подошел к неприметной зеленой двери, отпер ее ключом, отворил.

– Вперед иди.

Петя вошел, шевеля губами. Аварон зажег свет.

Они стояли в небольшой подсобке, заваленной ведрами, швабрами, метлами и лопатами для уборки снега. На всех ведрах было выведено красной краской “РЖЦ”.

В подсобке не было окон. Огромная батарея парового отопления растянулась толстой гармошкой во всю стену.

Аварон вынул из кармана вентиль, насадил на штырь крана батареи, с силой повернул. В трубе зашипел сжатый воздух, стена с батареей дрогнула и поехала, открывая темный проем. Аварон мягко подтолкнул Петю. Петя пошел в темноту. Рука Аварона лежала на его плече. Вскоре они уперлись в дверь. Аварон зазвенел ключами, отпер замок, открыл дверь, и Петя зажмурился от яркого света – впереди был полукруглый зал с белыми стенами и розовым мраморным полом. Яркая люстра освещала зал.

В центре зала стоял человек, как две капли воды похожий на Аварона и одетый точно так же. Он глянул на Петю все теми же быстрыми глазами, подошел к стене, взялся за стальное колесо сейфовой двери, налег.

Толстая дверь бесшумно отворилась.

Аварон-2 забежал за Петину спину и положил ему руку на левое плечо.

Рука Аварона-1 покоилась на правом.

Вдвоем они направили Петю.

За стальной дверью оказалась винтовая лестница. Втроем они осторожно спустились по ней и оказались в начале длинного бетонного тоннеля, уходящего в полутьму. Здесь стоял на стальных опорах могучий барабан с двумя ручками и намотанной цепью. Цепь блестела от жира.

Аварон-2 взял конец цепи с толстым стальным ошейником, надел Пете на шею и запер на ключ.

Оба Аварона взялись за ручки барабана и произнесли:

– Прямо иди.

Петя шагнул раз, другой и пошел по тоннелю.

Авароны вращали барабан, цепь разматывалась, позвякивая, тянулась за Петей.

Тоннель был длинным. Редкие лампочки тускло освещали его.

Петя шел. Цепь волочилась за ним по бетонному полу. Петино тело *внутренне тайно онемело*, покой и сила больше не потрясали его, сердце билось тяжело и равномерно, ноги шли сами.

Изменилось и видение матери. Теперь он видел ее стоящей посередине огромного обмелевшего океана, достигающего ей до колен. Мать была одета в свою беличью шубу, в левой руке держала кулек с человеческими зубами, а правой брала зубы, как леденцы, отправляла в рот и громко, с удовольствием грызла.

Впереди показался свет, обозначился проход. Петя вошел в него, поднялся по восьми гранитным ступеням и с трудом понял, что он находится в Мавзолее Ленина.

Сдержанный свет растекался по каменному залу. В стеклянном гробу необычной формы лежал Ленин. В Мавзолее стояла глухая тишина.

За свои тринадцать лет Петя четырежды побывал здесь. Первый раз – с родителями в три года, когда отца наградили вторым орденом, потом с бабушкой и Тингой, затем со своим классом, сразу после вступления в пионеры, и последний раз – с отцом, перед его выступлением на съезде партии.

Каждый раз Петя чувствовал в Мавзолее что-то грозно-неповторимое, что заставляло думать о непонятном. Входя в Мавзолей, он всегда сильно волновался и искал опоры в сопровождающих. Выходя, он сразу все забывал и, лишь придя домой, вспоминал что-то из увиденного. Лучше всего он помнил цвет лабрадора, которым были отделаны стены. Самого Ленина он почти не помнил.

Сейчас Петя не испытывал прежних чувств. Ему было *внимательно тоскливо*, и он не понимал, зачем он с цепью на шее пришел сюда.

Желтолицый Ленин в черном костюме вызывал *правильную скуку*, она нарастала, как стена. Пете впервые за весь невероятный вечер стало очень скучно и одиноко. Он понял, что Аварон *по-отцовски ошибается*, прижал пустоту к груди и сделал три шага вперед. Цепь натянулась, ошейник сдавил горло.

– Пройдет... – прохрипел Петя, и слезы потекли по его щекам.

Уперевшись ногами в скользкий пол, он *зло-печально* потянулся вперед, но цепь не пускала. Рыдая, Петя рванулся из последних сил. Цепь натянулась и напряглась, как штанга, в голове у Пети *прощающе* лопнуло красное яйцо, каменный зал изогнулся сферой, стеклянный гроб сжался в равностороннюю пирамиду, засветился мягким фиолетовым светом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.